

Аркадий Тимофеевич Аверченко

Кубарем по заграницам



Аркадий Тимофеевич Аверченко Кубарем по заграницам

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6089295

Аверченко А. Т. Кубарем по заграницам : Эксмо; Москва; 2013

ISBN 978-5-699-65116-0

Аннотация

«Королем смеха», «Рыцарем улыбки» называли современники Аркадия Аверченко, проза писателя была очень популярна при жизни автора. Несмотря на то что А. Аверченко стоял на антимонархических позициях, считая, что до революции «вся Россия была больна» и Февральскую революцию принял, – Октябрьскую революцию 1917 года считал разрушающей традиции, ведущей к гражданской войне, уничтожению связи времен, отрицающей национальные и патриотические идеи. Но беспощадная правда не останавливает здорового смеха писателя, вовлекающего читателя в действие масок, карнавальных переодеваний. Его герои отказались от народной правды, приняв официальную. В своих сатирических, крайне острых, не лишенных трагизма рассказах писатель предупреждает о нешуточной опасности, к которой ведет затянувшийся маскарад, когда нечистая сила, вызванная на народный праздник, подменяет реальные лица и добрых знакомых из старых сказок.

Содержание

Автобиография	6
Нечистая сила	20
Несколько слов по поводу этого, которое	20
Наваждение	23
Добрые друзья за рамсом	35
Город чудес	43
Отрывок будущего романа	50
1	50
Международный ревизор	56
Моя старая шкатулка	60
История – одна из тысячи	67
Слабая голова	74
Разговор за столом	80
Петербургский бред	89
Миша Троцкий	94
Перед лицом смерти	101
Разрыв с друзьями	105
I	105
II	108
Античные раскопки	113
Возвращение	118
Дюжина ножей в спину революции	125
Предисловие	125

Фокус великого кино	130
Поэма о голодном человеке	136
Трава, примятая сапогом	143
Чертово колесо	148
I	148
II	150
III	151
IV	152
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина	156
Новая русская сказка	159
Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке	159
Короли у себя дома	164
Усадьба и городская квартира	169
Хлебушко	175
Эволюция русской книги	179
Русский в Европах	184
Осколки разбитого вдребезги	190
Кипящий котел	197
Введение	197
I. Оскудение и упадок	200
Старый Сакс и Вертгейм	200
Бал у графини X...	205
Страна без мошенников	207
Русская сказка	211
II. Обнищание культуры	216

Володька	216
Косьма Медичис	220
Разговоры в гостинной	225
XX век. Года 1910 – 1913	225
XIII век. Год 1920	227
Конец ознакомительного фрагмента.	229

Аркадий Аверченко

Кубарем по заграницам

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым делом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.



Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – несколько не охладил преподаватель-

ского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал виз-

жать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа остался недосягаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Чер-рт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатич- ный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический го- лос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общи- тельность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгону я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал при- ватно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники? Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Меж-

ду осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отпраивались на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

– Что это такое? – изумился я...

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.

– Ну?

– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Прделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей

части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались престоками отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое

восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904¹ году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и

¹ В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями О. Михайлова, наиболее вероятен 1903 год.

розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня! Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на пол-

года 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской делегации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

Нечистая сила

Несколько слов по поводу этого, которое

Иногда усталому, притомившемуся путнику приходится на ночь остановиться в полуразрушенном замке, пользуясь в окрестностях дурной славой.

– Я вам, сударь, не советую искать ночлега в замке, – предостерегает путника встреченный на дороге поселянин. – Там нечистая сила пошаливает.

Но утомился путник, и не до того ему, чтобы разбирать, нечистая или чистая сила пошаливает в замке.

И вот всходит он по гулким каменным ступеням, покрытым щебнем и мягкой пылью... Луна заглядывает в огромные разбитые окна, а под покрытым черной паутиной потолком бесшумные летучие мыши чертят свои причудливые узоры... А внизу мышеписки, стрекотанье, вздохи и треск – не то разохшихся половиц, не то неотпетых человеческих костей.

Завернулся усталый путник в свой плащ, лег – и пошло тут такое, от чего волосы наутро делаются белыми, взгляд надолго застывает стеклянным ужасом...

Много всякого выползло, вышагнуло, выпрыгнуло и закружилось около путника в безумном хороводе: незакопанные покойники с веревкой на шее, вурдалаки, нежить разносортная, синие некрещенные младенцы с огромными водяными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков, – шишиги, упыри, чиганашки – все, что неразборчивая и небрезгливая ночь скрывает в своих темных складках.

И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что еще минутка, еще секундочка одна – и разорвется сердце от бешеных толчков, от спазма ледящего страха... Но чу! Что это? В самый последний, в предсмертный момент – вдруг раздался крик петуха – предвестника зари, света, солнца и радости.

Слабый это крик, еле слышный – и куда что девалось: заметалась, зашелестела вся нечисть, вся нежить, запищала последним писком и скрылась – кто куда.

А свет разгорается все больше и больше, а петух поет все громче и громче...

Здравствуй, милый петух!

Это не тот страшный «красный петух», что прогулялся по России от края до края и спалил все живое, это не изысканный галльский шантеклер, возвещающий зарю только в том случае, если ему будут уплачены проценты по займам и признаны все долги; это и не тот петух, после пения которого ученик трижды отрекся от своего божественного Учителя.

Нет, это наш обыкновенный честный русский петух, ко-

торый бодро и весело орет, приветствуя зарю и забывая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу.

Еще клубятся повсюду синие некрещеные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги – но уже раскрыт клюв доброго русского петуха – вот-вот грянет победный крик его...

А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси, – тому следуют пункты:

Наваждение

Вы, которым шестьдесят лет, или даже вы, которым сорок лет, или даже вы, молокососы, которым только двадцать лет, – вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно?

Ну как же вам не помнить: ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро ее забудешь!

Каждый день вставало омытое росой солнышко, из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок, с рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, рыбой, яйцами, хлебом, овощами и фруктами, – все это за рубль серебра, а если семья большая, примерно из 6 или 7 душ, – то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни:

– Проклятые купчишки опять вздули цену на сахарный песок, вместо 13 с половиной дерут по 14 копеечек – мыслимо ли этакое? А к курице прямо и не приступись: шесть гривен за такую, что и смотреть не на что!

Веселой гурьбой рассыпались по городу школьники, и пока еще были 5 – 10 минут свободных до звонка – с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода: покупали бублик за копейку, маковник за копейку, вареное яйцо за копейку, перо за копейку, – и только трехкопеечная тетрадь надолго расстраивала и расшатывала

весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением, – это что за те же три копейки тороватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка; картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец, – занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и Буренина.

Из всех кузниц, из всех слесарных мастерских с самого раннего утра несло бодрое постукивание – не диво ли? Кузнецы, слесаря, медники работали! А в другом месте свистящий рубанок плотника ловко закручивал причудливую, вкусно пахнущую сосновую стружку, а в третьем месте замасленный извозчик до седьмого поту торговался с прижимистым седоком из-за медного – о, настоящего медного – пятака:

– Веришь совести, сударь мой, – сено-то нониче почему? По сорок копеечек за пуд дерут, оглоеды!

А в четвертом месте каменщики на постройке дома уже успели пошабашить на обед, и – любо глядеть, как огромная корявая лапа, истово перекрестив лоб, тянет из общей миски ложку каши едва-едва не с полфунта весом.

А в пятом месте «грабители-купчишки», успев сделать неслыханное злодеяние – взвинтить на полкопейки цену за сахарный песок, уже выдули по громадному чайнику кипятку ценой в копейку и уже уселись за вечные шашки со своими «молодцами» или с соседним грабителем-купчишкой.

Из окон белого домика с зеленой крышей несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле лука и визгом ошпаренной кухаркой собачонки, – и даже полицеймейстер занят делом: приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок: у самой обочины тротуара лежит труп кошки с оскаленными зубами.

Да что там полицеймейстер? – даже городской сумасшедший, дурачок Трошка, выдумал себе работу: набрал в коробочку щепочек, обгорелых спичек, старых пуговиц и зычно кричит на всю площадь:

– А вот ягода садовая, а вот фрукта! Здравия желаем, ваше превосходительство!

Солнце парит, петухи, окруженные вечно голодным гаремом, чуть не по горло зарылись в пыль в поисках съестного – и только одни лентяи и оболтусы стрижи носятся в знойном воздухе безо всякого смысла и дела.

А в воскресный день картина была иная – помните?

Нет уж кузнечных и слесарных стуков, над городом нависла прозрачная стеклянная праздничная тишина, и тишину эту только изредка разбивает густой басистый звон колокола соборной церкви; и, пролетев над городом, звон этот долго еще стелется гудящими волнами над прозрачной, как стекло, застывшей в зное прозрачного дня речкой, окаймленной осокой и вербами...

Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имею-

щий свои виды на пескаря или ершишку, – и тот не нарушает мертвой торжественной тишины – разве что иногда звучно вздохнет от напряженного ожидания.

А в городе так празднично, что прямо сил нет: у школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачовые праздничные рубахи топорщатся, волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра, пока не выпито, деревянно-торжественно-благоговейные, и даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошастью, кучером и пролеткой.

Сегодня он не ругается – только что у обедни благоговейно приложился к кресту и к руке отца протопопа – шутка ли?

А девушка из зеленого домика ради праздника, вместо гамм и упражнений, разрешила себе не только «Молитву Девы», но даже кусочек «Риголетто». А юная сестра ее с томиком Тургенева в руке тихо и чинно шагает в тенистый городской сад, и золотая коса, украшенная пышным лиловым бантом, еще больше золотится и сверкает на летнем воскресном солнце, а лицо – под полями соломенной шляпы – в тени, и такое это милое девичье русское лицо, что хочется нежно прильнуть к нему губами или просто заплакать от тихой сладкой печали и налетевшей откуда-то тоски неизвестного, неведомого происхождения.

В трактире Огурцова душно, накурено, пахнет пролитой на прилавок водкой и прокисшим пивом, но весело необык-

новенно!

Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчел, сгрудился около прилавка и за столиками, уставленными неприхотливой снедью: жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей-глазуньей ценой в пятиалтынный, – и целым океаном хлеба: черного, белого, пеклеванного – на что душа потянет.

Тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстия бородастые, усатые пасти... Пасти крикают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень, зубах.

Да позвольте! Как же рабочему человеку не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и бог велел.

Благословляю вас, голубчики мои, – пейте! Отдыхайте. Может быть, гармошка есть у кого? А ну, ушкварь, Вася! Расступись шире ты, православный народ! А ну, Спирька Шорник, покажи им где раки зимуют – не жалея подметок – жарь всюю – Фома Кривой за целковый новые подбросит. Эх, люди-братие! Поработали вы за недельку – так теперь-то хоть тряхните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно! Эй, заворачивай-разворачивай! Ой, жги-жги-жги, говори!!

Пляшет Спирька, как бес перед заутреней, свирепо терзает двухрядку Вася, так что она только знай поеживается, да хрюкает, да повизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет восвояси купец с золотой медалью на

красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним вышагивает кум-посудник, приглашенный на рюмку смородиновки и на воскресный пирог с рыбой, визигой, рисом, яйцами – с чертом в ступе...

Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом...

В садиках под грушей, под липой, под кленом – кое– кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым или клубничным вареньем; тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор... Через забор в другом садике наиболее неугомонные сговариваются насчет стучолки, а поэтичный казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и, вперив задумчивые глаза в первые робкие звезды, тихо нащипывает струны гитарные...

Тсс... засыпает городок. Пусть: не будите, завтра ведь рабочий день.

Так вот и жили мы – помните?

Даже вы, двадцатилетние молокососы – нечего там, – должны это помнить...

* * *

И вдруг – трах-тара-рах! Бабах!!!

Что такое? В чем дело? Угодники святые!

Кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты, Спирька Шорник?

Владычица Пресвятая, Казанская Божья Матерь!! В чем же дело?

– А у том, собственно, – цедит сквозь зубы пренебрежительный Спирька, – что никакой Владычицы, никакой Казанской и нет, и все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд, и есть у нас один вождь красного пролетариата, краса и гордость авангарда мировой революции – Лев Давидович Троцкий! Отречемся от старого ми-и-ра...

Вот тебе и пирог с визигой!

Было праздничное богослужение, народ трепетно прикладывался к кресту, а теперь взяли ни с того ни с сего и вздернули пастыря на той самой липе, под которой так хорошо пили чай со сдобными булочками, с малиновым и смородиновым вареньем.

И какое там, к черту, малиновое варенье, когда кислое повидло с тараканами 1500 рубликов фунт стоит.

А Спирька уже не шорник, а председатель совдепа, назначенный самим Совнаркомом, и скоро, поговаривают, будет назначен главкомвоенмором.

Позвольте, при чем тут главкомвоенмор? А где та девушка с золотой косой и томиком Тургенева под мышкой? Помните, та, что шла воскресным утром в тенистый городской сад?

– А! Неужели не слышали? Ее вместе с отцом, председателем Казенной палаты, доставили за контрреволюцию в чрезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допро-

са избитого отца – ее, как говорит русская пословица: «при попытке бежать застрелили».

– Опомнитесь! Есть ли у вас бог в душе!

– Говорят же вам, что декретом Совнаркома бог отменен за мелкобуржуазность, а вместо него – не хотите ли Карла Либкнехта плюс Розу Люксембург – многие одобряют!

Да, чуть не забыл! Казначейский-то чиновник... Помните, что еще играл по вечерам на гитаре...

– Ну? Ну?!!

– Уже не играет на гитаре. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы.

– Кто же это разбил?

– Председатель совнархоза.

– Это что еще за кушанье?!

– Помилуйте! Совет народного хозяйства. Всем продовольствием ведает.

– Да ведь продовольствия нет?!

– Это точно, что нет. А совнархоз есть, это тоже точно.

Дивны дела твои, господи. Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и овощ всякую, и фрукту – и не было тогда совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили – безо всякого совнархоза, без агитпросвета и политкома обходились, как дикари какие-то... Убоину каждый день лопали, пироги, да поросенка, да курчонка ценой в полтину.

А нынче Спирька – главкомвоенмор, всюду агитпросветы

и пролеткульты... У барышни, игравшей по воскресеньям «Молитву Девы», рояль реквизировали, школьники, бездумно переводившие намоченными пальцами переснимочные картинки, передохли от социалистической голодухи, а купца с медалью на красной ленте просто утопили в речке за то, что был «мелкий хозяйчик и саботировал Продком».

Каменщики уже не работают, плотничьи рубанки уже не завивают прихотливых стружек, а кузнецы если и постукивают, так не по наковальням, а по головам несогласного с их платформой буржуазии.

И не стрижи уже весело вьются, носятся над тихим городом... Имя этим новым, весело порхающим по городу птичкам иное – вороны, коршуны-стервятники. Вот уж кто питается – так на совесть!

Вот уж кому обильный Продком устроен!

Суммируя все вышесказанное – что, собственно, случилось?

В лето 1917-е приехали из немецкой земли в запечатанном вагоне некие милостивые государи, захватили дом балерины, перемигнулись, спихнули многоглавого господина, одуревшего от красот Зимнего дворца, спихнули, значит, и, собрав около себя сотню-другую социалистически настроенных каторжников, в один год такой совдеп устроили, что в сто лет не расхлебаешь.

Сидел Спирька Шорник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал – явились к нему:

– Брось, дурак, работу – мы тебя главкомвоенмором сделаем. Грабь награбленное!

– А ежели бог накажет?

– Эва! Да ведь бога-то нет.

– А начальство?

– Раков в речке кормит.

– Да как же, наша матушка Расея...

– Нету матушки Расеи. Есть батюшка Интернационал.

– Да ну! Комиссия отца Денисия!

– Ну, брат, теперь комиссия без отца Денисия. Аки плод на древе, красуется колеблемый ветром отец Денисий.

Крякнул только Спирька, натянул на лохматую голову шапчонку и, замурыкав пророческий псалом:

«Эх, яблочко... куда котишься?» – пошел служить в комиссию без отца Денисия.

Покатился.

* * *

Ну что, голубчики русские... Обокрали нас, а! Без отмычек обокрали, без ножа зарезали...

И когда при мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет:

– Что ни говорите, а Ленин и Троцкий замечательные люди...

Мне хочется спихнуть его со стула и, дав пинка – ногой в

бок, вежливо согласиться с ним:

– А что вы думаете! Действительно, замечательные люди! Такие же, как один из учеников Спасителя мира – тоже был замечательный человек: самого Христа предал.

Так уж если Христа, самого бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче.

* * *

И когда снова Спирька возьмется за свои седла и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень, в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш не подлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда неповешенный пастырь благословит с амвона свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья – в синем, теплом воздухе снова закружатся стрижи – я скажу:

– Велик бог земли Русской!.. Мы три года метались в страшном, кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, которые, взяв сонного русака за шиворот, трягнули его так, что весь сон как рукой сняло. Трягнули так, что, как говорится, «аж черти посыпались».

Голубеет небо, носятся, как угорелые, стрижи, плывет святорусский звон колокола, и прекрасная белокурая девушка – символ новой, но вечно старой России – снова идет с книжкой в уютный тенистый сад, где ласково кивают ей зеленеющие ветви:

– Милости просим: отдохни, девушка! Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение...

– Отдохни, девушка.

Ах, как мы все устали, и как нам нужно отдохнуть.

И тем нужно отдохнуть, что бежали, преследуемые, и тем, что по канавам валялись расстрелянные, и тем, что гнили по чрезвычайкам, избитые, оплеванные, униженные грязной продажной лапой комиссара.

И этим нужно отдохнуть – вот этим самым комиссарам – всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенкам – имена же их ты, диаволе, веси – и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых...

И отдых им один, отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них: «Отдых на крапиве!...»

Добрые друзьяза рамсом

Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком: «Сладко ли, мол? Не кисло ли?»

Вот только тогда мы, действительно, всеми чувствами нашими поймем, «що воно таке».

Например, я: сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине Второй и Потемкине – все не мог себе живо представить: что это были за люди во плоти и крови?

Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать мое воображение.

И представились они мне ясно, во весь рост, только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем.

О Потемкине... «Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во всех движениях была привычка повелевать». И дальше: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты,

которыми были унижены его руки».

То же и об Екатерине II: «...Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом... – «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала», – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев». И дальше: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца...»

Всего несколько пустяковых штрихов – и обе фигуры стоят передо мной как живые.

* * *

Сейчас – нет спору – в России две самые интересные фигуры – Ленин и Троцкий. И за ними еще две – Горький и Луначарский.

А как мы можем их себе представить конкретно, этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят?

Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦИКе, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского.

Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве,

в тридевятом государстве, где бесшумно и бесплотно бродят какие-то абстрактные символы.

Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить – вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский.

Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: «Товарищ Марфушка, ты опять к столу теплый монополь-сек подала? Ну что мне с тобой, дурищей, делать?!» – скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесенная на съезде перед сотней партийных дураков!..

И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия, представляю – как они там себе живут?

Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу:

– С Горьким у них дружба. Луначарский по вечерам ездит к Горькому в рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает. Выпьют, закусят... Жизнь самая обыкновенная.

Стоп! Довольно. Больше ничего не надо.

Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет божий целую конкретную картину.

Кабинет Максима Горького. Зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившаяся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, весь вид задумчивый.

На оттоманке в углу уютно устроилась с вязаньем жена его – артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами.

– О чем задумался? – спрашивает Андреева.

– Вообще, так... Сегодня на Моховой видел человека мертвого: не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: завтра свалюсь я – и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а?

– Сегодня ждешь кого-нибудь?

– Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал вернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется?

– Телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная... Ну, консервы можно открыть. Сыр есть.

– А вино?

– Вино только красное. Портвейну всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть, та, что на лимонной корке настоял... А! Анатолий Васильевич... Забыли вы нас: три дня и глаз не казали. Нехорошо, нехорошо.

В дверях стоял, сощуриив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, – усиленно протирали запотевшее в жаркой комнате пенсне.

– Холодище, – пробормотал он хрипловатым баритоном. – Я думаю, градусов 20. Мерзнет святая Русь, хе-хе. Ну что ж нынче – сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремиз, как третьего дня, – прямо отказываюсь с вами играть.

– А что же ваша супруга? – любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделие.

– Да приключение с ней неприятное. Так сказать: приключилось умаленькое инкоммодите!² Пошла вчера вечером пешком из театра – прогуляться ей, вишь, захотелось, это при двух-то автомобилях! – в темноте споткнулась на какой-то трупнице, валявшийся на тротуаре, упала и все плечо себе расшибла. Такой синяк, что...

– Какой ужас! Компресс надо.

– Не по Моховой шла? – задумчиво спросил Горький.

– Ну где именье, где Днепр!.. При чем тут Моховая? А Лев Давидыч будет?

² Недомогание (фр.).

– Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка!

– А жарковато у вас тут! Ф-фу!

– Да... Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось.

– Анатолий Васильевич! Могу сообщить вам новость по вашей части: у нас почти весь сахар кончился.

– Отложил для вас полтора пудика. А мука как, что вчера послал, – хороша?

– О, прелесть. Настоящая крупчатка. Где это вы такую достали?

– А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу?..

– Злодей! Он еще спрашивает!

– Слушаюсь! Будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль.

В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге.

– Драгоценная Мария Федоровна! Ручку. Здорово, панове! А я, простите, задержался – на пожаре был.

– Где пожар?

– На Глазовой. Эти каналы от холода готовы даже дома

жечь, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать – типичные поджигатели.

– Ну не будем терять золотого времени, – хлопотливо пробормотал Луначарский, поглядывая на золотые часы. – Кстати, Левушка, об аресте... Помнишь, я тебя просил за того старика профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?

– Ах, да! К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Еще тепленький.

– А, черт бы вас разодрал! И куда вы так вечно спешите. Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скапустились. Он и того... Кому сдавать? Вам, Алексей Максимыч. Так-с. Я не покупаю. Ну зайдём с вальтика, что ли. А это как вам понравится? А это!! Хе-хе... Все пять – мои; пишите ремизы.

Вошла горничная.

– Домна спрашивает – телятину подогреть?

– Наоборот, – поднял голову от карт Алексей Максимыч. – Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная. С огурчиком.

* * *

– Господа, пожалуйста закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонной! Сам настаивал, хе-

хе.

* * *

Так они и живут, эти приятели, так дорого обошедшиеся России.

Город чудес

Написано Аркадием Аверченко при любезном содействии его коллеги Герберта Джорджа Уэллса, эсквайра

Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила на купленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров и, главное, специалистов по всем отраслям предполагаемого предприятия – самым мельчайшим.

Весь участок обнесли высочайшим забором, и только на южной стороне ограды были проделаны монументальные ворота с огромной вывеской, на которой горела и сверкала всеми цветами радуги огненная надпись:

«Город Чудес».

А ниже:

«День пребывания в Городе Чудес и осмотра его стоит 5 миллионов руб. Спешите! Лучшая аттракция мира! Важно для русской «взыскующей града» души!!».

Беспрерывная адская работа кипела 3 месяца.

Наконец последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит куда следует – и предприятие было объявлено открытым для широкой публики.

Беря у входной кассы билеты и платя за них жирную пачку керенок в пятьдесят тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымзину:

– То есть, знаешь, – если бы не так дорого драли, – ни за что бы не пошел!

– Еще бы, – рассудительно поддакивал Грымзин, – этикие деньжища не жалко и заплатить.

– Чего это они нам покажут?

– Говорят тебе – Город Чудес. Значит, чудеса будут – ясно!

– Пожалуйста сначала в контору, ваше сиятельство, – сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели.

– Слышь ты, – толкнул локтем приятеля Грымзин. – Чудеса, брат, уже начались. «Сиятельством» назвал.

В конторе щеголевато одетый клерк почтительно вручил им какую-то проштемпелеванную бумажку и указал на кассовое окошечко:

– Там получите деньги на расходы!

И когда кассир пододвинул им столбик золотых монет, рублей на двести, на столько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи – оба друга только промычали что-то и, боясь громко ступать по вылощенному паркету, направились к выходу.

Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на сте-

не отрывным календарем и, не могши вымолвить слова, только головой дернул:

– Смотри!

На календаре было: «1908 год. 18 августа».

– Виноват, – робко обратился к клерку Трошкин. – Какое у нас сегодня число?

– 18 августа.

– А... год?

– Неужели не знаете? 1908-й. Тут же написано.

– Ну-ну, – покрутили головой друзья.

Вышли. Ошарашенные, зашагали по городу.

По улице мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями:

– Ин-те-рресные газеты: «Новое Время», «Русское Слово», «Речь»!! «Биржевка»!!³

– Постой, постой! За какое число «Новое Время»?

– Ясно – за сегодняшнее.

– Сколько тебе?

– Две за «Биржевку», пятак за «Новое Время»!

– Ф-фу!! Зайдем-ка в кафе, почитаем. Барышня! Два ко-

³ «Новое время» – ежедневная петербургская политическая и литературная газета (1868–1917). С 1876 г. издателем был А. С. Суворин, определивший патриотическую направленность газеты. «Русское слово» – литературная и политическая газета либерального направления. Выходила в Москве с 1894 по 1917 г. С 1897 г. издатель И. Д. Сытин. «Речь» – политическая и литературная газета (1906–1917). Печатный орган кадетов. «Биржевка» – «Биржевые ведомости» (1886–1917) – петербургская газета по вопросам политики, литературы и искусства. Основана С. М. Проппером, биржевым маклером.

фе по-варшавски, полдесятка пирожных. Ну-ка, что они там пишут?.. Гм! Статья Меньшикова⁴:

«Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент. Еврейская левая пресса, которая спит и видит – поднять в России революцию...»

– А посмотри хронику.

– Изволь. «Его Величество Государю императору имели высокую честь представляться представители тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить: «Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны». – «Увольняется в полугодовой отпуск д.с.с. Криворучко». – «Орден Станислава 3-й ст. награждается старший советник градоначаль...»

– Буренинский фельетон есть?

– Все на своем месте.

– Кого ругает-то?

– Валерия Брюсова.

– А, брат Ваня? Каково! Времена-то какие!..

– Барышня, получите. Сколько? 75 копеек? Дороговато.

Хи-хи!

Вышли. На улице их внимание привлекла масса зеленых

⁴ Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) – русский публицист, постоянный сотрудник либеральной газеты «Неделя», консервативного «Нового времени». Выступал против деятельности Государственной думы, инородцев.

и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях.

– Чего это, Ваня?

– Квартиры все сдаются. Время осеннее скоро – сам понимаешь!.. А это что за вывеска... Во, брат! «Доминик». Зайдем... А? У буфета по рюмочке... А? С пирожком, а?

У буфетного прилавка толпилось много делового народа.

– Я, – говорил один другому, – могу продать вам вагон сахара по четыре с полтиной за пуд.

– Ваня... Что же это?

– Статисты, нешто не понимаешь. Для нас все эти разговоры. Для нас поставлены. Да-с – не зря деньги содрали. Буфетчик! Пирожки-то свежие?

– Помилуйте! Вам ординарную или двуспальную, за гривенник?

– Ваня! Обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу! Всего хочу. Деньжищ-то у нас уйма. 498 с полтинником осталось. Это из пятисот-то, Ваня. Спервоначально обедать, потом в театр, потом в шантан.

Вышли. Пошли к «Медведю». Пообедали. Снова вышли.

– Ваничка, голубчик мой!!! Ей-богу, городской стоит. Ваня, пойдем поцелуем. Не могу я видеть равнодушно. Стоит, голубчик, глазками смотрит. Гор-родовой!!

Не спеша приблизился городской.

– Чего орешь зря? В участок захотел?

– Ваня... Слова-то какие: «орешь», «участок»!.. Городовой! Я протестую. Почему у вас не старая жизнь? Почему вы

новые революционные порядки вводите?

Лицо городского приняло сразу новый, интеллигентно-испуганный вид.

– Что вы, мистер? Этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма...

– А вон, почему на углу очередь стоит? Разве в хорошее время очередь стояла?

– Это же на Шаляпина, сэр, всегда бывала, сэр.

И тут же выверился на проезжавшего извозчика:

– Я т-тебе покажу, дьявол желтоглазый... Не знаешь, какой стороны держаться?! Экие шалманы!..

– Барин, пожалуйста за четвертачок... Куда надо?

– Ваня! Изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили, а я изнемогаю не от шампанского, а от радости бытия, Ваничка... Ваня, в театр бы ахнуть!..

С таинственным видом приблизился барышник.

– Билетиков у кассы не достанете. Желаете у меня? Второго ряда, вместо восьми целковых – десять только и возьму. Пожалуйста-с.

В театре Филимон Петрович снова ахнул:

– Ваня! Кто это там с хором на сцене на коленках стоит? Неужто ж Шаляпин?! Ах, голубчик ты мой! Это значит Высочайшее-то присутствие, а? Что делается... Все, как раньше... Ах, молодчины американцы!

И с переполненным сердцем влез Ваня на стул и завопил

радостно:

– Товарищи... Нет, извините, к черту товарищей... Граждане!! Жертвую от полноты чувств на американский Красный Крест сто тысяч!!

Подошел капельдинер. Снял Ваню со стула и внушительно шепнул:

– Сэр! Вы, очевидно, не рассчитали. Сто тысяч золотом, – а других денег мы не признаем! – там за оградой будут стоять миллиард вашими... Опомнитесь.

И сел Ваня на стул, и горько заплакал Ваня...

В красивую, полную пышной грезы и блеска, жизнь – во-рвалась пошлая, тяжелая проза, и сразу потускнела вся американская позолота, и сделался жалким комедиантом стоящий на коленях актер, так великолепно загримированный Шаляпиным...

Отрывок будущего романа

(Написано по рецепту «Алой Чумы»⁵)

1

В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец завоевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, который и висел небольшим привеском на неизмеримом пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, отощавшего людоеда.

Что касается окружающих государств, то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через каждые пятьсот шагов:

«Вход посторонним строго воспрещается».

Совдепия была предоставлена самой себе.

Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни искусств...

⁵ «Алая Чума» – фантастическая повесть Джека Лондона, в которой отразились мрачные футурологические взгляды писателя на бездушную цивилизацию, что породила смертоносных бактерий, уничтоживших основную часть живого на Земле; людям, по мысли автора, грозило одичание.

Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет, постепенно зарастает дремучим волосом и наполняется тучей насекомых, так и бывшая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой травой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей...

Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросший маками и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишенных стекол трубах разрушенных обсерваторий... А в стенах бывшего Московского университета свила гнездо страшная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся округа.

Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных...

Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.

Племя исполкомов было нечто вроде воевод – оно прави-

ло. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.

Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья – совнаркому Мише.

Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.

* * *

Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года... На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.

– А где старший брат? – спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.

– Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-ин-

тернационалистов. Теперь идут дебаты о том – съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.

– О, наказание! – воскликнула старуха. – И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.

– Да, дожидайся, – проворчал внук. – Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке... Поймали его наши и тут же слопали – даже полпальца не принесли... А когда отец с охоты вернется?

– Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?

– А я когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу... Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.

– Покажи-ка, – с любопытством попросила старуха. – Да это гайка!!

– Что это значит: гайка?

– Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.

– Какие рельсы?

– Железная дорога. Из железа.

– Какое странное слово: железо.

– Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.

– Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?

Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:

– Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы... Такие длинные-предлинные палки... И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.

– Сколько же лошадей нужно было для этого?!

– Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит – никакой лошади не догнать.

– Кто ж это делал?

– Инженеры.

– Они вкусные?

– Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая – за меня один инженер сватался.

– Чего-о?

– Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.

– Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.

– Ох, как с вами трудно разговаривать!

И потом мечтательно улыбнулась:

– Он мне записки писал...

– Что это значит: «писал»?

– Брали такую палочку с железной штучкой на конце, об-

макивали в черную краску и делали на бумаге знаки.

– Какое смешное слово: бумага.

– Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца – покажу.

Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.

Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:

– Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.

– Что ж ее прежний жених?

– Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.

– А формула перехода к очередным делам?

– Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.

– Какая прелесть! Совсем роман!

– Чего-о-о-о?..

Но старуха молчала, задумавшись о прошлом...

Все было безмолвно, только слышался далекий олениный рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.

Международный ревизор

Начало комедии

Действие происходит в Москве в кремлевских палатах.

Троцкий. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет международная комиссия!

Луначарский. Как комиссия?!

Петерс. Как комиссия?!

Ленин. Вот не было заботы, так подай!..

Троцкий. По своей части я кое-какие распоряжения сделал – советую и вам. Особенно вам, Петерс! Комиссия, конечно, захочет осмотреть чрезвычайки – так уж сделайте так, чтобы все было прилично. А то у вас на заключенных посмотреть страшно: худые, голодные, в синяках и кровоподтеках.

Петерс. Кровоподтеки белилами замазать можно.

Троцкий. Ну, да уж я не знаю, что там полагается. Можно бы также всех заключенных одеть в боярские костюмы и чтобы они, как придет их осматривать комиссия, проплясали бы перед комиссией русскую. Хотя... как мы их заставим?..

Петерс. Это можно. Я им надену сапоги с гвоздями внутри. Уж будьте покойны: на месте не устоят, тут тебе и русскую, и французскую, и испанскую всякую отпляшут.

Троцкий. Потом у вас там эти разные аппараты, которые вы... этого... употребляете при допросах. Оно, конечно, мо-

жет, так по-вашему, по-ученому, и надо, а все же, если комиссия увидит все эти ваши зажималки для пальцев, прессы да резины – ан и нехорошо. Впечатление может получиться не того...

Петерс. А мы на дверях этой комнаты напишем «гимнастический кабинет». Кстати же, англичане любят спорт.

Троцкий. Вам виднее; только смотрите, чтобы англичане не стали сдуру на себе пробовать этой гимнастики... Вам также, товарищ Луначарский... Советую обратить внимание на учебные заведения. Очень уж мало в них учебного. Намедни захожу, а ученицы на коленях у учеников сидят и кокаин нюхают. Может быть, оно так для усвоения научных предметов и надо, да французы из комиссии ведь народ легкомысленный, примут ваше учебное заведение за что-либо другое и начнут между партами канкан плясать...

Луначарский. Да ведь сами же вы говорили, чтобы в школах была полная свобода. Впрочем, однако, насколько я знаю, и раньше, при полицейско-бюрократическом режиме, ученики и ученицы в наказание бывали на коленях.

Троцкий. Так ведь то на собственных, а не на чужих. И по вашей части, товарищ комендант города, тоже попросил бы... Вы позволяете жителям ходить по городу почти без всего: эта дрянная публика наденет только сверх рубахи рваный пиджачишко, а внизу ничего нету!

Комендант. Слушаю-с... Мы этаких на время приезда комиссии выберем всех из города да на общественные работы

и погоним.

Троцкий. А ежели комиссия будет вообще останавливать на улицах прохожих да спрашивать: «Довольны ли жизнью?» – то чтоб говорили: «Всем довольны, господа сэры или там мусью». А который будет недоволен, мы ему после такое неудовольствие пропишем!.. Впрочем, это уж по вашей части, Христиан Иванович.

Петерс. Будьте покойны!.. Мы его, недовольного-то, сразу же в гимнастический кабинет. Тама останется доволен!..

Троцкий. Вообще я бы отобрал из жителей человек сто тех, которые посытее да повеселее, подкормил бы их еще до приезда комиссии да и выпустил бы на улицу: пусть все время по пути следования комиссии на глаза подвертываются. Да развесить им на шеи медальон с портретом Карла Маркса! Пусть видят иностранцы, какие мы есть социалисты. А который каналья сбросит с шеи портрет, я ему такую пеньковую цацу навешу... Впрочем, это по вашей части, Христиан Иванович.

Петерс. Будьте благонадежны.

Троцкий. Да вот еще что: тут за последнее время вы, товарищ Луначарский, наставили памятников – как, бывало, раньше Держиморда фонари ставил – кому нужно, кому и не нужно. Тут тебе и Урицкому, и Стеньке Разину, и Робеспьеру, и Нахамкису, и Емельяну Пугачеву. Наши-то «товарищи» ничего – слопают... А перед иностранцами как-то неловко. Снять бы их, что ли! И что это, ей-богу, за сквер-

ный город! Только поставь где-нибудь один памятник – сейчас же целую сотню всякой дряни нанесут и наставят.

Луначарский. А как же быть с вашим памятником?

Троцкий. Ну, мой можно оставить. Только временно надпись на нем переделайте. Напишите: Гарибальди, что ли.

Луначарский. Да ведь Гарибальди с большой бородой!

Троцкий. Ну, времени столько прошло, что мог успеть и побриться. Кажется, теперь все. Фф-фу!.. Ну, вот комедия и кончена!..

Луначарский. Вы думаете – кончена? Я думаю, она только после приезда международной комиссии и начнется!..

Моя старая шкатулка

У меня есть старая шкатулка палисандрового дерева, выложенная по крышке инкрустацией, – совсем такая, какую возил с собой Павел Иванович Чичиков.

Я свою тоже теперь вожу за собой.

С сентября позапрошлого года.

А раньше она стояла в углу кабинета моей петербургской квартиры и служила хранилищем трофеев побед моей горничной надо мной.

Дело в том, что у меня с моей горничной шла глухая, тайная, незаметная, но свирепая, неумолимая борьба. Всякий из нас терпел свои поражения и одерживал победы, но на ее долю приходилось побед больше, чем поражений...

Каждый день утром, сидя за письменным столом, я просматривал корреспонденцию и прочитанное, ненужное бросал на пол; просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты, счета бросал на пол, вынимал содержимое боковых карманов, отбирал ненужное – бросал на пол. И уходил из дому.

А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а все брошенное не менее тщательно собирала и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе.

Приходил я. Замечал засунутую пачку; бросал на пол.

Приходила она. Собирала с пола. Засовывала между подсвечниками и часами.

Приходил я. И, признав себя побежденным, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией.

Замечательнее всего, что у нас с горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров. Не правда ли?

* * *

Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным, лихорадочно поспешным. Уезжая, я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку...

Так и увез с собой палисандровую шкатулку.

А сегодня – открыл ее и стал перебирать старое, пожелтевшее, основательно забытое.

В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов.

Выбираю из беспорядочной, перемешавшейся от дорожной тряски груды первое попавшееся:

Ресторан «Вена». Счет. Итог – 270 рублей.

Что такое?!

А-а... Помню! Праздновал в большом кабинете свои именины, 26 января. Гостей 24 персоны.

А ну, посмотрим:

«Закуска» холодная, водки различные	42 р.
« — // —» горячая 4 сортов	36 р.
Ужин из 3-х блюд со сладким на 24 перс.	30 р.
Вино стол. и десер. 12 б.	21 р.
Кофе и ликеры	38 р.
Шампанское франц. 7 б.	56 р.
« — // —» Абрау 5 б.	20 р.
Фрукты	23 р.
Еще шампанское 2 б. Асти	7 р.
	Итого 270 р.

Помню я эти именины... Хозяин «Вены» – незабвенный покойник Иван Сергеич Соколов – постарался: украсил мое место цветами и за свой счет, в виде подарка, отпечатал юмористическое меню на 24 персоны.

Вот оно: огромное красное «26 января», а под ним:

«Закуски острые, сатириконские; водка горькая, как цензура; борщок авансовый; осетрина по-русски без опечаток; утка – не газетная; трубочки с кремом à la годовой подписчик».

Бедный остряк, Иван Сергеич... И косточки твои, вероятно, уже рассыпались.

Бросаю на пол и счет и меню – пойди-ка подбери снова

это все, моя петербургская горничная!.. Далеко ты.

Беру следующую бумажку:

«Дорогой Аркадий! Погода хорошая. Бери на Конюшенной таксомотор: поедem покатаемcя на Стрелку. Можно и к Фелисьену».

Н-да-с. Катались раньше мы. Пили кровушку.

На пол бумажку! Следующая:

«Зачем презираете скромную Финляндию? Райвола и мой замок⁶ по вас соскучились. Приехали бы и Радакова⁷ привезли. Ах, какой у него чудесный рисунок – «Песня голода»⁸. Ждем. Ваш *Леонид Андреев*».

Благоговейно откладываю в сторону. Рука, набросавшая эти торопливые строки, уже не будет скользить пером по бумаге.

Спи крепко и спокойно, любимый писатель и человек.

А это что?

«Аркадий, выкупай заложников...»

...Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 р. 20 коп., а нет ни соверена. Твои заложники жизни П. *Маньч*,

⁶ «...мой замок...» – Л. Н. Андреев приглашает А. Т. Аверченко к себе на дачу в Финляндию. В 1910-х гг. «Дом на Черной речке» Л. Андреева стал излюбленным местом встреч его друзей.

⁷ Радаков Алексей Александрович – русский советский художник и писатель. Сотрудник журналов «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Красный перец», «Крокодил».

⁸ «Песня голода» – очевидно, речь идет об иллюстрации к трагедии Л. Н. Андреева «Царь Голод».

Сергей Соломин⁹ и др.».

Сергей Соломин умер давно. Петр Маныч, говорят, расстрелян, да и «др.», я думаю, едва ли уцелели...

На пол, на пол!..

«Солнышко мое! Тысячу раз целую и нежно обним...»

Гм!.. Нет, это не то. А вот!!

«Аркадий! Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на «Сатирикон» с 12 к. до 15 к. Не делай этого безумства, не роняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателя 3 копейки. Твой Ре-Ми».

Призадумался я... Ре-Ми где-то за границей, а я в Севастополе, а петербургский читатель, рассчитывавший в 3-х копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба, съел и тихо отправился туда, где и Иван Сергеич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир.

Мимо, мимо.

Это еще что такое?

«Г. Аверченко! У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли ко мне хорошего жильца? С почтением ваша бывшая квартирная хозяйка И. М.».

⁹ П. Маныч – Петр Дмитриевич Маныч (ум. в 1918) – русский писатель, как называли его современники – «коновод литературной богемы». Соломин (настоящая фамилия Стечкин) Сергей Яковлевич (1864–1913) – русский писатель, автор историко-публицистических произведений «Исторический момент», «Разрушение терема» и др.

«Счет от портного Анри.

2 пиджачных костюма – 210 р.

1 жакет – 135 р.

1 фрак с 2 бел. жил. – 195 р.».

Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену истершейся шелковой подкладки на коленкорую взял 17 000 рублей.

Телеграммы:

«Дорогой дружище. Это лето я свободен. Если будет месяца 2 времени – поедем север Африки, проберемся Египет, если месяц – успеем Венеция или Нормандия».

Да. Ездили. Весь мир был наш.

«Магазин Вейс. Счет. 2 пары ботинок на пуговицах, с замшевым верхом – 36 р., одна пара туфель открыт, франч. – 16 руб.».

Ожесточенно комкаю. Бросаю.

А вот и еще записочка. Какая милая записочка, жизнерадостная: «Петроград. 1 марта.

Итак, друг Аркадий – свершилось! Россия свободна!! Пал мрачный гнет, и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже! Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья!! Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя».

Да... показали.

Опускаю усталую голову на еще неразобранную грудку, и

– нет слез, нет мыслей, нет желаний – все осталось позади и тысячью насмешливых глаз глядит на нас, бедных.

История – одна из тысячи

К петербургскому гражданину свободной Советской России явился человек из комиссариата и сказал:

– Вы – Григорий Недорезов?

– Я – Григорий Недорезов.

– Вы назначены быть на митинге завтра около цирка Модерн.

– В качестве чего?

– Что значит в качестве чего? В качестве публики.

– Слушаю-с. А когда аплодировать?

– Там впереди будет такой чернявенький, в прыщах, – как хлопает, так вы все за ним. Только всего и дела. И с тем счастливо оставаться.

– Как? Как вы сказали?!

– Я говорю – «счастливо оставаться». Хе-хе.

– Хе-хе.

Оба рассмеялись друг другу в лицо скрежещущим, лязгающим смехом и, отскочив друг от друга, разошлись.

* * *

Чтоб не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прыщами – Григорий Недорезов пробрался в самые первые ряды в двух шагах от оратора и погрузился с головой

в волшебный мир сладких звуков ораторского голоса.

– Товарищи! – ревел оратор, почти переламываясь пополам. – Завоеванной нами свободе грозит опасность! С одной стороны, на нас наступают польские империалисты, с другой – южная крымская белогвардейщина. Только последним гигантским усилием мы можем спасти нашу дорогую матушку-свободу, а для этого – все на красный фронт!! Правильно я говорю?

Слушатели вздохнули, переступили с ноги на ногу и коротко промолчали.

– Правильно я говорю?!

Вздых и молчание.

– Чего же вы молчите? Может, я неправильно говорю, так вы скажите... Ну? Что же? Правильно я говорю?

Пытливый взор оратора померк, нахмурился и уперся прямо в грудь Григория Недорезова, в ту грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль:

– Пр-равильно!

– Ну, что же?.. Вы вот там... товарищ в женской безрукавке и одном башмаке! Чего же вы молчите? Я спрашиваю: правильно или неправильно?

Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился.

– Вы что? Может быть, вы глухонемой?

– Нет, я ничего... Спасибо.

– Так чего же вы молчите и только рот открываете и за-

хлопываете, как рыба, вынутая из воды?.. Вот вы нам и скажите: правильно я говорил или неправильно?

Григорий Недорезов был молчалив, как его старый башмак. Даже, пожалуй, еще молчаливее; башмак хоть разевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами, а рот Недорезова Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ.

Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул:

– Ну, что ж... Товарищ Упокойников! Отведите этого, который молчит, я с ним после поговорю.

– Пожалуйте!

– Куда вы меня ведете?

– Там вас какая-то барышня спрашивает. Очень хорошенькая. Ждет на углу. Пойдешь ты или приклада между лопаток захотел, сволочь!

Как и предполагал Недорезов, изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным или преуменьшенным – как угодно: это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении, и не барышня его ждала, а ему пришлось подождать.

Вместо барышни через полчаса пришел давешний оратор, сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой Недорезовым и сказал потягиваясь:

– Ну-с... значит, там, на людях, вы со мной разговаривать не хотели. Посмотрим теперь... Правильно я говорил или неправильно?..

Башмак, разеваая рот до ушей, вопил на весь крещеный мир, требуя законной порции каши... Владелец его, наоборот, молчал как убитый.

– Так-с, – вздохнул бывший оратор. – Очень хорошо. Товарищ Гробов! Отведите этого молчаливого товарища в тюрьму. А если будет попытка к побегу – стреляйте.

– Даю вам честное слово, – торопливо заговорил Недорезов, – что попытки к побегу не будет! Ей-богу, честное слово!..

– Ну да... Вы можете и не бежать, а им вдруг покажется, что вы побежали. Народ у нас все усталый, заматавшийся: где ж тут тихий шаг от рыси отличишь.

Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были бы находиться кудри, если бы не – и так далее.

– Хорошо! – воскликнул он. – Раз все равно пропадать – я скажу, почему я молчал!! Извольте! Я молчал потому, что не знал, что ответить: «правильно» или «неправильно».

– Да что ж, у вас нет головы на плечах, что ли?

– Э, господин-товарищ! Нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами, есть голова перед тем, как ее не будет. Были у меня два брата: Сережа Недорезов и Алеша Недорезов; и за пять минут до того, как они потеряли голову, они ее имели, казалось, приделанную к плечам наглухо...

– Ну-с?

– Начну с Сережи. Парень был голова – министр! Огонь!

Орел! Все понимал, что к чему. Думал он, думал да приходит к одному такому... главному – вроде вас... И говорит: неправильно все это у вас! Обещали хлеб народу – все с голоду пухнут; обещали мир – с одного фронта на другой, как соленых зайцев, гоняете; обещали свободу – а для того, чтобы ребенка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, – десять разрешений и мандатов требуется!.. Неправильно! Нехорошо!» Пожевал губами нарком, выслушал все до конца и спрашивает:

– Значит, неправильно?

– Очень даже неправильно.

– Хорошо. Отведите его туда-растуда, и при попытке бежать – распорядитесь.

– Да я, – говорит, – не буду бежать!

– Все равно распорядиться нужно.

Повели его и распорядились. Узнали мы с Алешей, поплакали, потом Алеша и говорит: «Я, говорит, буду теперь со всем иначе с ними разговаривать... Я уж знаю как!»... Пошел к наркому и говорит: «Ах, говорит, до чего у нас все хорошо, до чего все правильно! Обещали, скажем, хлеб – сделайте ваше такое одолжение – есть и хлеб, и жиры, и азотистые – хоть залейся. Мир народу обещали – извольте! Царит мир, тишь, гладь да Божья благодать... Свободу сулили? Боже ты мой! Это ли не свобода! Только теперь солнышко и увидели, только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень все правильно сделано!»

Пожевал нарком губами.

– Правильно, значит?

– Оч-чень правильно.

– Ну-с, отведите его куда следует, а при попытке бежать – распорядитесь.

– За что же, помилуйте?

– За то самое. За издевательство и насмешку. Потому – то, что вы говорили, можно только в издевку сказать! Товарищ Скелетов! Распорядитесь.

Распорядились.

Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор, как и что мне вам было ответить?! Ответить – «правильно!», скажут: распорядись, Скелетов! Ответить – «неправильно» – все равно: Скелетов, распорядись! Так уж лучше я молчать буду!

Бывший оратор сокрушенно покачал головой.

– Да, и молчать нехорошо. Молчание на категорически поставленный вопрос суть саботаж, бойкот правительства, наказуемый по нашим законам тюрьмой, а при попытке бежать... Одним словом, товарищ Гробов, распорядитесь.

* * *

Редкие прохожие видели на пустынной мостовой Недорезова Григория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно, все-таки пытался бежать...

Он лежал на мостовой, с поджатыми ногами, и казалось, что он, действительно, пытается убежать.

И казалось тоже, что у него два отверстых рта на обоих полюсах застывшего тела: один рот – полный белых деревянных зубов – на башмаке... Этот рот вопил, он был разинут в бешеном требовании каши, обращенном к пыльному небу.

Другой рот – обыкновенный человеческий, без передних, вышибленных прикладом зубов – был тоже открыт, но молчал. Молчал.

До Страшного Суда.

Слабая голова

Позвонили мне по телефону.

– Кто говорит? – спросил я.

– Из дома умалишенных.

– Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Хи-хи.

Ну, как поживают больные?

– Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Гречухина?

– Ну как же! Приятели были. Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел...

– Поздравляем вас! Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда.

– Павлушу-то? Да с удовольствием!

Заехал я за ним, привез к себе.

* * *

– Ф-фу! – сказал он, опускаясь в кресло. – Будто я снова на свет божий народился. Ведь, ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все! Ну как Вильгельм?

– Ничего себе, спасибо.

– Ты мне прежде всего скажи вот что: кто кого победил – Германия Россию или Россия Германию?

– Союзники победили Германию.

– Слава богу! Значит, Россия – победительница?

– Нет, побежденная.

– Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили?

– Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом.

– Как поживает Распутин?

– Ничего себе, спасибо, убит.

– Сейчас в России монархия?

– А черт его знает. Четвертый год выясняем.

– Однако, образ правления...

– Образа нет. Безобразие.

– Так-с. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.

– Нету спичек, не курю.

– Позови горничную.

– Маша-а-а!

– Вот что, Машенька, или как вас там... Вот вам три копеечки, купите мне сразу три коробки спичек.

– Хи-хи...

– Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?

– А видишь ли... У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят.

– Намного?

– Нет, на пустяки. На пятьсот рублей.

– Только-то? Гм! Чего ж оно так?

– Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.

– Так-с. Эва, как ботиночки мои разлезлись... Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?

– На что тебе?

– Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельяца.

– Нет, таких денег у меня нет.

– Неужели пяти катеринок не найдется?

– Теперь этого мало. Два миллиона надо.

Павлуша странно поглядел на меня и замолчал.

– Чего ты вдруг умолк?

– Да так, знаешь. Ну дай мне хоть сто рублишек. Поеду в Питер – там у меня родные.

– Они уже умерли.

– Как? Все?

– Конечно, все. Зря, брат, там в живых никто не останется.

– Ну я все-таки поеду. Хоть наследство получу.

– Оно уже получено. Теперь все наследства получает коммуна.

Взор его сделался странным. Каким-то чужим. Он посмотрел в потолок и тихо запел:

– Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота.

Мне почему-то сделалось жутко. Чтобы отвлечь его мысли, я сообщил новость:

– А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме Совдепа.

Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил:

– Ду-ю спик энглиш? Гай-ду-ду. Кис ми квик¹⁰. Слушай... Ну, я в Москву поеду...

– Да не попадешь ты туда, чудак!

– Почему, сэр?

– Дойдешь ты до Михайловки, за Михайловкой большевики.

– Кто-о?

– Это тебе долго объяснять. Проехал ты, скажем, большевиков – начинается страна махновцев; проехал, если тебя не убьют, махновцев – начинается страна петлюровцев. Предположим, проехал ты и их... Только что въехал в самую Совдепию – возьмут тебя и поставят к стенке.

– Ну что ж, что поставят. А я постою и уйду.

– Да, уйдешь, как же. Они в тебя стрелять будут.

– За что?

– За то, что ты белогвардеец.

– Да я не военный.

– Это, видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если

¹⁰ Вы говорите по-английски? Как поживаете? Поцелуйте меня побыстрее (искаж. англ.).

ты достанешь мандат харьковского реввоенсовета или хоть совнархоза...

Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая:

Чикалу, ликалу
Не бывать мне на балу!
Чика-чика-чикалочки —
Едет черт на палочке...

– Знаешь что, Павлуша, – предложил я, – поедem прока-тимся. Заедem по дороге в сумасшедший дом. Я там давеча портсигар забыл.

Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного.

– Ты ж не куришь?

– А я в портсигаре деньги ношу.

– Пожалуй, поедem, – согласился Павлуша, хитро улыбаясь. – Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь. Два-три месяца, и, глядишь, все будет хорошо.

Поехали.

Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его.

Когда вошли в вестибюль, Павлуша отскочил от меня и, спрятавшись за колонну, закричал:

– Берите вот этого! Он с ума сошел.

Ко мне подошел главный доктор.

– Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.

Я махнул рукой.

– Опять готов!

Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и вежливо сказал:

– Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я стану к стеночке.

* * *

Взяли Павлушу. Повели.

Слава богу: хоть одного человека я устроил как следует.

Разговор за столом

Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков – в Феодосии, Ялте или Севастополе, – я заранее с математической точностью знаю, с чего начнется их разговор.

Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но *начинается* он всегда с поразительной точностью одинаково.

* * *

Вот пятеро – три дамы и двое мужчин – уселись за стол вокруг шумящего самовара; хозяйка вручила каждому по чашке чаю, пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты.

Минута молчания. Переглянулись.

– Ну-с, – начал разговор мужчина, тот, что помоложе. – Когда же мы будем в Петербурге?

– Да-а-а, – неопределенно тянут все три дамы. – Интересно, когда мы туда попадем?

– Теперь уж скоро, – хмуря многозначительно седые брови, говорит старичок. – Мелитополь взят. (А раньше он говорил Курск, а раньше – Харьков.)

Первая стадия разговора кончена.

Вторая:

– Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена.

– Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет.

– А я не имею никаких сведений о своей квартире.

– У меня там сестра живет. Не знаю – жива ли?

– У меня отец и тетка. Не знаю – живы ли?

– Там голод.

– Там страшный голод.

– Там умирают с голоду.

– Совершенно умирают. Почти все.

Вторая стадия разговора окончена.

Третья:

– Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам.

– Вот негодяй!

– Форменный. Вешать таких людей мало.

* * *

И вдруг одна из дам неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стучался боками о края канала, – сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых отвлечен-

ных предположений.

Именно она сказала:

– А что бы вы, mesdames, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?

– Ах, ах, – сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется – роскошная блондинка, и даже сверкнула большими серыми глазами. – Я не знаю даже, что бы я с ним сделала! Я... я даже руки бы ему не подала.

– Тоже... – кисло улыбнулась худошавая. – Придумали наказание. Нет, попадись мне в руки Троцкий, я уж знаю, что бы я сделала с ним.

– А что именно?

– Я? Я бы выстрелила в него!!!

– Ну, это тоже ему не страшно, – скривилась, подумавши, третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс. – Нет, попадись мне в руки Троцкий, я бы уж знаю, что бы я сделала! Узнал бы он, почему фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию!..

– Ну, а что? Что бы вы ему сделали?

И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу.

– Я бы купила булавок... много, много... ну, тысячу, что ли. И каждую минутку втыкала бы в него булабочку, булабочку, булабочку... Сидела бы и втыкала.

– Только и всего?

– Ну, а потом отрезала бы голову и выбросила свиньям!

– Только и всего?

Бедная фантазией худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила:

– А после этого воткнула бы в него еще тысячу булавок!!

Мужчина помоложе снисходительно засмеялся:

– Эх вы. Милые вы дамы, очаровательные, но фантазии у вас ни на копейку. Эко придумали: утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него... Нет, господа, нет! Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская!..

– Например?! – в один голос воскликнули все три дамы.

– А вот... Только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так... То, что я буду говорить, очень страшно. Итак: по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи людей – совершенно безвинных – по обвинению в контрреволюционности. И вот! Если бы ко мне в руки попался Троцкий – я его не убивал бы. А взял бы последнего расстрелянного из этих тысяч, взял бы еще теплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому – грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот – постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком... Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо с оскаленными зубами, голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует

около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей завороч...

Раздается дикий пронзительный крик блондинки:

– Не могу!! Довольно!.. Дайте свет... Мне страшно!!

Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки, и угрюмо молчал.

И заговорил старичок... Мягким, кротким голосом заговорил:

– Позвольте и мне сказать кой-что по этому вопросу. Видите ли... Я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему упокойников, – я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку, самую справедливую...

Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче, еще душевнее:

– Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся ну... в пяти душах, что ли. И я досыта кормил бы их. Хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селедочку в уксусе, икорку паюсную, огурчики солененькие... На обед селяночку жидкую с соленой рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком! и пудинг – сладкий-пресладкий. А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы – я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом, знаете, этакий московский хлебный темный квасок со льдом и с желтой пеной наверху, как, бывало, в московской «Праге» подавали. Острый, шипучий, прият-

ный – в нос шибает... Вот кушали бы они, родименькие, кушали... И когда, накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском, я остановил бы его руку и сказал:

– Послушай, раб Божий, убийца... а заслужил ли ты своими деяниями сие питье усладительное. Вот давай мы это по-Божьему рассудим. Секретарь! А ну-ка читай поименно всех убиенных сим рабом Божиим!

И стал бы читать секретарь:

– Убиты сим убийцей: Марья, Николай...

И после каждого имени выплескивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького. И сказал бы дальше секретарь мой:

– Петр, Семен, Поликарп... Все!

И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных сим человеком, и остальной квас – три четверти кувшина – вручил бы убийце:

– На, сын мой! Вот твой остаток. Увлажняй свое пересохшее горло хоть до вечера.

И потянулся бы Троцкий к своему кувшину.

– Нет, стой, сын мой, – сказал бы я. – То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена убиенных сим – а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечко – через минуточку, хе-хе...

И читал бы он и читал – о, велик список убиенных сим Троцким! – а я бы медленно, по глоточку, выплескивал этот

душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу.

А Троцкий сидел бы и смотрел да лизал бы языком свои проклятые пересохшие губы, те губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных к мукам и умерщвлению.

Кончился бы квасок – я бы еще чего принес: пивца холодненького, альбо сельтерской воды этакий сифонище притащил. Назовет секретарь имечко, а я сифончик давану, оттуда струйка – порск! Назовет, а я – порск! А другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а у Троцкого и горло, и пищевод, как кора сухая, покоробившаяся, а желудок, как высохший пузырь, стянулся – да нет ему водички – ибо текут, текут имена – десятки, сотни, тысячи имен убиенных – и так до скончания века его...

– Это страшно... – прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам, и поспешно проглотила чашку полустывшего чаю.

* * *

А на диване, в глубине столовой, сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта, сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал.

Когда же старичок окончил свой тихий елейный задушевный рассказ – встал с места офицер и вошел в светлый круг,

образуемый настольной лампой.

– А-а, – сказала худощавая дама, – а мы и не знали, что вы тут. Ну, теперь ваша очередь. Что бы вы с ним сделали, с Троцким? Воображаю, какой ужас вы придумаете!..

Резко освещенный лампой офицер неопределенно усмехнулся.

– Видите ли, господа... Если бы вместо этого стола было изрытое окопами поле и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а там, где стоит кекс, – наша батарея, спрятанная за эту вазу с вареньем, изображающую наши окопы, – то тогда вы бы ясно представили, что бы я делал: я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом, после артиллерийской подготовки, бросился бы со своими солдатами вперед и энергичным штыковым ударом...

– Да вы не то говорите! Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы Троцкий попался вам в руки?

– Боюсь, что в бою, в этой суматохе я пристрелил бы его, как бешеную собаку.

– Ну, да – мы это понимаем; а если бы он без боя очутился в ваших руках?

Глаза офицера сверкнули и засветились, как две свечи.

– Так я бы его тогда, подлеца, в суд!..

– Как в суд? В какой суд?

– А как же?.. Ежели он виновен – надо его в суд! Пусть судят.

Молчание сгустилось, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенная электричеством густая туча.

И только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно:

– Какое странное время: у штатских такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают, как штатские!

Петербургский бред

Это я не выдумал.

Это мне рассказал один приезжий из Петербурга.

И произошло это в Петербурге же, в странном, фантастическом, ни на что не похожем городе...

Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов могла родиться нижеследующая маленькая бредовая история.

* * *

Ежедневный большой прием у большевистского вельможи – Анатолия Луначарского.

Время уже подползло к концу приема, когда наступают сумерки, и у вельможи от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий и разного другого коммунистического дрязга опухает голова, в висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки, и смотрит вельможа на последних просителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и потирая ладонью натруженную голову.

Уже представилась вторая подсекция красной башкирской коммунистической ячейки, уже, стуча сапогами и переругиваясь, вышли из кабинета представители морпродкома

Центробалта.

– Ф-фу, кажется, все, – выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный Луначарский.

И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи завозились две серые фигуры и двинулись разом на Луначарского.

– Кто вы такие? – испуганно спросил Луначарский. – Что нужно, товарищи?

– Так что, мы насчет березовых дров, – ответили серые фигуры. – Это дело нужно разобрать, товарищ.

– Какие дрова? Что такое?..

– Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана Всеотопом – нам, а они свезли самую лучшую березу, а нам говорят – вам осталась сосна. Нешто этой сыростью протопишь?..

– Кто свез лучшую березу?

– Как кто? Трепетун.

– Да вы-то кто такой?

– Я от Перпетуна.

– А этот товарищ кто?

– Говорю же вам: Трепетун. Мы вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали.

Луначарский потер рукой пылающую голову и несмело повторил:

– Расскажите еще. Яснее.

– Да что ж тут рассказывать: раз Всеотоп выдал реквизи-

ционную квитанцию Перпетуну, так при чем тут Трепетун будет захватывать лучшую березу? Нешто это дело? Не Трепетуний это поступок.

Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетун и Трепетун, но тут же спохватился, что неудобно ему, председателю Пролеткульта, показывать такое невежество...

Он только неуверенно спросил:

– Да как же так Трепетун мог захватить?

– А вот вы спросите! Перпетун уже и место приготовил для склада, и сторожей нашел, а Трепетун – на тебе! Из-под самого носа! Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада нет, все одно на улице будет лежать, товарищи разворуют.

– Нет, ты, брат, извини, – хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна, – Перпетун-то по бумажке получает, а Трепетун еще летось обращался к Всеотопу, и ему лично без бумажки ответили, что береза ему в первую голову.

– Ловкий какой! А Перпетуну, значит, сосна?

– А по-твоему, кто ж – Трепетун должен сосной топиться?

– Идол ты, да ведь Перпетун по квитанции!

– А Трепетун без квитанции, зато раньше!

И, снова схватившись за пылающую, раскаленную голову, выбежал бедный Луначарский в канцелярию.

– Товарищи! Не знаете, что такое Перпетун и Трепетун?!!

– А кто его знает. По-моему, так: Трепетун – это трус, ко-

торый, так сказать, трепещет...

– Так-с! А кто же в таком случае Перпетун?

– Может быть – перпетуум? Вроде перпетуум-мобиле – вечное такое движение.

Вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнеможении.

– Так как же нам быть, товарищ Луначарский?

– Кому – вам?

– Да вот – Перпетуну и Трепетуну?..

– Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?

– А мы делегированы.

– Ке-ем?!

– Перпетуном же и Трепетуном.

– Ну, так вот что я вам скажу, – простонал Луначарский, хватаясь за пульсирующие виски. – Пока они сами не придут – ничего я разбирать не буду!!

– Кто чтоб пришел?!

– Да вот эти... Перпетун и Трепетун.

– Шутите, товарищ. Как им, хе-хе, – с места сдвинуться.

– Кому-у?!

– Да опять же Перпетуну и Трепетуну.

– Провалитесь вы, анафемы! Да кто они, наконец, такие, эти проклятые Трепетун и Перпетун: скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?!

И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились:

– Неужто не знаете, товарищ? Я от Первого Петроград-

ского университета, а он от Третьего Петроградского районного. Это ж наше сокращенное имя: Перпетун и Трепетун.

Миша Троцкий

Как известно, у большевистского вождя Льва Троцкого – есть сын, мальчик лет 10–12.

Не знаю, может быть, у него еще есть дети – за истекший год я не читал «Готского альманаха», – но о существовании этого сына, мальчика лет 10–12, я знаю доподлинно: позапрошлым летом в Москве он вместе с отцом принимал парад красных войск.

Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне кажется – Миша. Это имя как-то идет сюда.

И когда он вырастет и сделается инженером, на медной дверной доске будет очень солидно написано:

«Михаил Львович Бронштейн, гражданский инженер».

Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие – народ не очень-то приятный. Это видно хотя бы по Мишиному папе.

Меня всегда интересовал и интересуется маленький народ, все эти славные, коротко остриженные, лопухие, драчливые Миши, Гриши, Ваньки и Васьки.

И вот когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь – в жизнь этого симпатичного, ни в чем не повинного мальчугана, – мне делается нестерпимо жаль его...

За какие, собственно, грехи попал мальчишка в эту заваруху?

Не спору, – может быть, жизнь этого мальчика обставлена с большою роскошью, – может быть, даже с большею, чем позволяет цивилизный лист: может быть, у него есть и гувернер – француз, и немка, и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводные пароходы, из труб которых идет настоящий дым, – это все не то!

Я все-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства.

Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быте. Ребенок без традиций, без освященного временем быта – прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем.

Для ребенка вся красота жизни в том, что вот, дескать, когда Рождество, то подавайте мне елку, без елки мне жизнь не в жизнь; ежели Пасха – ты пошли прислугу освятить кулич, разбуди меня ночью да дай разговеться; а ежели яйца не крашеные, так я и есть их не буду – мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю Страстную есть постное и ходить в затрепанном затрапезном костюмчике, а как только наступит это великолепное Воскресение, ты обряди меня во все новое, все чистое, все сверкающее да пошли с прислугой под качели! Вот что-с!

Да что там – качели! Я утверждаю, что для ребенка праздник может быть совсем погублен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посередине традиционного розана

или сливочное масло поставлено на праздничный стол не в форме кудрявого барашка, к чему мальчишка так привык.

Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме Троцких – русские или еврейские, – но если даже еврейские, и еврейская пасха имеет целый ряд обольстительно-приятных для детского глаза подробностей.

Увы, я думаю, что Миша Троцкий – живет без всяких традиций, чем так крепко детство, – без русских и без еврейских. Я думаю, папа его совсем запутался в Интернационале – до русских ли тут, до еврейских ли обычаев, – когда целые дни приходится толковать с создателями новой России – с латышами, китайцами, немцами, башкирами, – это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обаятельно пахнущего сдобой кулича.

* * *

Что Миша читает?

Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майн Рида – это цветок без запаха.

А Миша Майн Рида не читает.

Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки «Тропинка войны» или «Охотники за черепами», и, может быть, на некоторое время околдовало Мишу приволье и красота ароматных американских степей. Может быть, чудесной музыкой заиграли в его ушах такие заманчивые сво-

ей звучностью и поэзией слова:

«Сьерра-Невада, Эль-Пасо, Дель-Норте!..»

Но, прочтя эту книжку, принялся бродить притихший зачарованный Миша по огромным пустым комнатам папиного дворца, забрался в папин кабинет и, свернувшись незаметно клубочком на дальнем диване, услышал от представляющихся папе коммунистов и латышей совсем другие слова, почувствовал совсем другие образы:

– С тех пор, как, – серым однотонным голосом бубнит коммунист, – с тех пор, как мы ввели уезземелькомы, они стали в резкую оппозицию губпродкомам. Комбеды приняли их сторону, но уездревкомы приняли свои меры...

Потом подходит к столу латыш.

– Ну что, Лацис? Всех допросили...

– 28 человек. Из них 19 уже расстрелял, остальных после передопроса.

Лежит Миша, притихнув на диване, и меркнут в мозгу его образы, созданные капитаном Майн Ридом.

Какая там героическая борьба индейцев с белыми, вождя Дакоты с охотниками Рюбе и Гареем, какое там оскальпирование, когда вот стоит человек и, рассеянно вертя в руках пресс-папье, говорит, что он сегодня убил 19 живых людей.

А на красивые, звучные слова – Эль-Пасо, Дель-Норте, Сьерра-Невада, Кордильеры – наваливаются другие слова – тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык свирепых сиксов: Губпродком, Центробалт, Уезземельком.

Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую.

Но папа замечает его.

– А, Миша! Что ж ты не здороваешься с дядей Лацисом. Дай дяде ручку.

Эта операция не особенно привлекает Мишу, но он робко протягивает худенькую лапку, и она без остатка тонет в огромной, мясистой, жесткой «рабочей» лапе дяди Лациса.

– Ну иди, Миша, не мешай нам. Скажите, а с теми тремя, арестованными позавчера, вы кончили или...

Но Миша уже не слышит. Опустив голову, он идет в детскую с полураздавленной рукой и вконец расплюснутым сердцем.

* * *

В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда – так это на Мишину мать.

Авось, она не выдаст Мишу, и одним своим прикосновением ласковой руки к горячей голове расправит измятые полюбоборванные лепестки детского сердца.

За обедом спросит:

– Чего ты такой скучный, Миша? Чего ты ничего не кушаешь?

– Мне скучно, мама.

В разговор ввязывается папа:

– Его уже нужно в училище отдать, так ему тогда не будет скучно. Хочешь, я тебя отдам в Первую Коммунистическую Нормальную Школу, а?

И вдруг коммунистическая мать вспыхивает и взлетает, как ракета.

– Ты! Ты! – кричит она, сжигая сверкающими глазами коммунистического папу. – Ты мне эти штуки с моим ребенком брось! Я знаю ваши «Нормальные» школы для мальчиков и девочек!! Ты там можешь себе проводить какую хочешь политику, но в семью этой дряни не вноси. Чтобы я послала своего сына на разврат? Лева, слышишь? Об этом больше нет разговора!

– Ну хорошо, ну ладно. Раскудахталась. Миша! Ну, если тебе скучно, поедем опять принимать парад красных войск – хочешь?

– Что ты со своими паршивыми парадами к ребенку пристал? Он же один, ему же нужны товарищи, а ты ему своими парадами-марадами голову морочишь!

– Ему нужны товарищи! Так чего же ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю поиграть сына Лациса – Карлушу?

– Лева! Я же тебе в тысячный раз повторяю: оставляй свою политику на пороге нашего дома! Чтобы я позволила моему сыну играть с этим латышонком, с сыном палача, который...

– Со-ня!!! Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола! Что это за разговоры такие?

За столом – тяжелое, душное молчание.

Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не приронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в стену.

– Что ты? – озабоченно спрашивает отец. – О чем задумался?

– Папа, ты знаешь, что такое Эль-Пасо и Дель-Норте?

– М... М... Не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации.

– А знаешь ты, что такое «Охотники за черепами»?

Лицо папы сначала бледнеет, потом краснеет:

– Послушай, ты! Дрянь-мальчишка... Если ты еще раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой, – выдеру как сидорову козу! Понял?

Нет, Миша не понял.

На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений.

Но это его преступление – гибель Мишиной души – неуследимое, неуловимое, как пушинка, – и, однако, оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочие его убийства.

Перед лицом смерти

Кусочек материала к истории русской революции

Сколь различна психология и быт русского и французского человека.

Французская революция оставила нам такой примечательный факт:

Добрые, революционно настроенные парижане поймали как-то на улице аббата Мори. Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю и потащили аббата к фонарю.

– Что это вы хотите делать, добрые граждане? – с весьма понятным любопытством осведомился Мори.

– Вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб.

– Что ж вы думаете – вам от этого светлее станет? – саркастически спросил остроумный аббат.

Толпа, окружавшая аббата, состояла из чистокровных французов, да еще парижан к тому же.

Ответ аббата привел всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было вотировано сохранение жизни.

Это французское.

А вот русское¹¹.

¹¹ Факт этот рассказан автору одним вполне заслуживающим доверия харьковцем. (Прим. авт.)

В харьковской чрезвычайке, где неистовствовал «товарищ» Саенко, расстрелы производились каждый день.

Делом этим, большею частью, занимался сам Саенко...

Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещение, где содержались арестованные, со списком в руках и, став посередине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу.

И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставляла с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону.

Понятно, что никто не молил, не просил – все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенко.

И вот однажды, за два дня до прихода в Харьков добровольцев, явился, по обыкновению, Саенко со своим списком за очередными жертвами.

– Акименко!

– Здесь.

– Отходи в сторону.

– Васюков!

– Тут.

– Отходи.

– Позвольте мне сказать...

– Ну вот еще чудак... Разговаривает. Что за народ, ей-бо-

гу. Возиться мне с тобой еще. Сказано отходи – и отходи. Стань в сторонку. Кормовой!

– Здесь.

– Отходи. Молчанов!

– Да здесь я.

– Вижу я. Отойди. Никольский! – Молчание. – Никольский!!

Молчание. Помолчали все: и ставшие к стенке, и сидящие на нарах, и сам Саенко.

А Никольский в это время, сидя как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разутую ногу в опорке на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу-самокрутку.

– Никольский!!!

И как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенко уставились в упор на Никольского.

Никольский не спеша провел влажным языком по краю папиросной бумажки, оторвал узкую ленточку излишка, сплюнул, так как крошка табаку попала ему на язык, и только тогда отвечал вяло, с ленцой, с развальцем:

– Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете.

– А что?

– Да ведь вы Никольского вчера расстреляли!

– Разве?!

И все опять помолчали: и отведенные в сторону, и сидящие на нарах.

– А ну вас тут, – досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию. – Запутаетесь с вами.

– То-то и оно, – с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарищам, – внимательней надо быть.

– Вот поговори еще у меня. Пастухов!

– Иду!

А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского.

* * *

Не знаю, как на чей вкус...

Может быть, некоторым понравился аббат Мори, а мне больше нравится наш русский Никольский.

У аббата-то, может быть, когда он говорил свою остроумную фразу, нижняя челюсть на секунду дрогнула и отвисла, а дрогни челюсть у Никольского, когда он, глядя Саенко в глаза, дал свою ленивую реплику, – где бы он сейчас был?

Разрыв с друзьями

Посвящается В. С. фон Гюнтер

I

Вы – грязны, оборваны; на вас неумело заплатавшее, душно пахнущее платье; давно небритая щетина на лице, пыльные всклокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах.

Представьте это себе.

Вы – опустившийся, подлый, пропитанный дешевой сивухой ночлежный человечешко, – и вдруг в одном из гнилых, пахнущих воровством переулков вы встретили своего бывшего, прежнего друга – представьте себе это!!

Он одет в черное, прекрасно сшитое пальто, на руках свежие замшевые перчатки, на голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана пальто виден чудесно завязанный галстук, приятно выделяющийся синим пятном на белоснежном белье; только что выбритые щеки еще не успели покрыться синевой, на них еще остался еле уловимый след дорогой пудры, а ноги обуты в изящные лаковые ботинки с замшевым верхом; а пахнет от вашего прежнего старого дру-

га герленовскими Rue de la Paix...

Он добр; он радушен; он не замечает вашей гнусности, оскудения и грязи...

Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает:

– Ба! Приятная встреча! Ну, пойдём. И-и, нет, нет, – и не думай отказываться! Пойдём со мной в ресторанчик – тут есть такой с кабинетами – закусим, выпьем, старину вспомним. Ну же, друг, не ломайся.

И вот мы с ним в теплом чистом кабинете ресторана: на столе – свежая икра, этакие серые влажные зерна, – до того крупные, что их пересчитать можно, и к икре поджаренные гренки; и ветчина – розовая, тонкая, прозрачная, как кожа ребенка; и желтый балык, нарезанный так, что похож на бабочку, раскинувшую крылья, – упругий, с хрящиком, осетровый балык; и бутылка «Кордон Вер» кажет свое зеленое горло из серебряного ведра со льдом.

А друг ваш небрежно роняет благоговейно внимающему лакею:

– Ну, дайте там чего-нибудь горяченького: на первое ушицы можно, если стерлядка подвернется, а на второе... Ну, чего бы? Котлетку можно Мари-Луиз и спаржи, что ли?..

И тут же, отпустив слугу, радушно поворачивается к вам и говорит красивым вежливым языком, без брани и заушения, к чему вы так привыкли в вашей alma mater – ночлежке:

– Ну-с, так вот, значит, как. Рад тебя видеть, очень рад.

А я, брат, только что из-за границы... Прожил два месяца в Виареджио, проскучал неделку в Милане, преотчаянно влюбился в одну американку в Остенде – и, чтобы излечиться от страсти, махнул обратно в нашу милую Россию... Ну, что здесь? Встречаешь кого-нибудь из старых приятелей? Я слышал, князь Сергей женился и уехал в свое подмосковное? А наш милейший Боб? По-прежнему занимается коллекционерством фарфора? А его рара, как и раньше, проедает третье баронское наследство на ужинах у Кюба? Говорят, его лошадь победила на дерби? Что ты сидишь такой... скучный, а? Да развеселись же, голубчик; *ma parole*¹², ты раньше был жививальнойней.

Ма parole?! Князь Сергей?.. Виареджио? А вот мне вчера Сенька Обормот чуть голову не проломил денатуратной бутылкой – это тебе не Виареджио!..

И вы сидите против него – грязный, небритый, весь окутанный еще неостывшими ночлежными заботами, – и этот голос из другого, чудесного, недоступного для вас, ушедшего от вас мира доводит вас до того – представьте себе это, – что вы вот-вот сейчас броситесь на него, вцепитесь в горло и с ненавистью начнете рвать сверкающее белье на беззаботной холеной груди...

¹² *Ma parole* (фр.) – честное слово.

II

Впрочем – это все присказка.

А сказка – тяжелая, мрачная, угрюмая – впереди. Идя в ногу с общей жизнью, я чувствую себя грязным, небритым, опустившимся человеком; впрочем, такова сейчас вся Россия.

Но в левом углу на деревянной полке расставлена у меня пестрая компания старых друзей, которых я так любил раньше, без которых дня не мог прожить и от которых я сейчас шарахаюсь, как от чумы.

Потому что удовольствие от встречи с любым из них – на час, а расстройства на целый день.

Я не могу! Я отравлен! Я не виноват, хотя друзья мои остались те же – ни одна буквочка в них не изменилась, а вот я другой; я – бывший человек из ночлежки Аристиды Кувалды¹³.

Я – грубое, мрачное, опустившееся на дно существо, а они все такие чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченые коленкоровые переплеты.

Ну, хорошо; ну, ладно; ну, вот я беру с полки одну книгу,

¹³ Аристид Кувалда – герой рассказа М. Горького «Бывшие люди» (1897). Автор так писал о своем герое: «Кувалда – прозвище отставного офицера... удивил меня независимостью поведения перед судьей...» (Письмо И. Груздеву, 1926).

развертываю ее, читаю.

Могу я так сосредоточиться, как раньше?

О чем написано в этой книге? Почему эти голоса звучат, как доносящиеся из другого, будто навсегда погребенного мира?

Ну, вот я читаю, по прежнему времени, самые невинные строки:

«Она опустила голову низко, низко и, машинально катая тонкими пальцами хлебные шарики, прошептала: если ты хочешь доказательств – я брошу для тебя детей и разведусь с мужем...»

Ну, вот – я читаю это. И вы думаете, моя мысль следует за разворачивающейся драмой любящей женской души?

Как бы не так! Черта с два!

Главная мысль у меня такая: катает хлебные шарики... Ишь ты! А хлеб-то, небось, не по карточкам. В очереди не стояла, дрянь этакая, так можно катать, не жалеючи хлеба.

«Чтоб потом я же оказался палачом, разлучником с твоими детьми?!» – крикнул он, стукнув по столу так, что тарелка с маслом задрезжала...»

Стучи, стучи! Небось, если бы, как теперь, масло стоило пять тысяч фунтик, – не постучал бы... А интересно, где они его доставали? Наверное, в молочной покупали. Посмотри-ка ты на них: сливочное масло лопают, да еще и ссорятся, а?

Бросаю эту книгу, раскрываю другую:

«...Прошло уже несколько лет, но перед его глазами все время как живая стояла эта страшная картина: раненый человек полулежит на земле и между его пальцами струится кровь из раны на груди. Лицо его постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то пленкой...»

Подумаешь, важность! Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латыши расстреляли на улице днем в Каретном ряду восемь человек, – и то ничего. Вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут, при таком оптовом зрелище, нешто разглядишь, у кого «глаза затуманились какой-то пленкой» и кто «постепенно бледнел...».

Ухлопали всех, да и пошли дальше.

И сразу после этого московского зрелища делаются неинтересными все кисло-сладкие подробности об одном раненом, который, как потом оказалось, и не умер-то вовсе.

Бросаю эту книгу, беру третью:

«...Так ты меня жди в Крыму, – сказал он, нежно целуя ее. – Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную, и я через двое суток уже в твоих объятиях».

Тьфу! Даже читать противно: «срочная из Крыма в Питер», «через двое суток»!

А срочную через двадцать дней не хочешь получить?

А полтора месяца не хочешь ехать?

А из вагона тебя батько Махно не вышвырнет, как котенка? А Петлюра деньги и чемодан у тебя не отнимет?

Все ложь, ложь и ложь.

Все – расстройство моей души!

Все – напоминание о том, когда мы еще не были «бывшими людьми».

Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о «Смерти Ивана Ильича».

Я теперь привык так: матрос Ковальчук нажал курок; раздался сухой звук выстрела... Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся оземь. «Следующий!» – привычным тоном воскликнул Ковальчук.

Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче.

* * *

Прощайте, мои книги, прощайте, мои верные друзья... Сжечь бы вас, каналий, следовало за то, что вы так можете человека расстроить.

Если на ваших страницах босяк выпивает бутылку водки (стоит теперь 10 000 рублей), если извозчик за четвертак везет через весь город и, получив гривенник прибавки, называет седока вашим сиятельством, если скромный ужин студента состоит «из куска ростбифа и бутылки дешевого красного вина», если шикарная кокотка за ночь любви получает 50 рублей, если ваши герои могут переноситься в двое суток из Петербурга в Крым, если вы можете на ста страницах размазывать, как умирает Черт Иванович, если «к подъезду

графа мягко подкатил пятитысячный лимузин» – если все это, – то нам с вами не по дороге: катите себе дальше на «пятитысячном лимузине» или сядьте «на шикарного лихача за трешницу», а мы скромно усядемся на империале конки за пятьсот целковых.

Прощайте! Поцелуйте от меня студента, убого поужинавшего ростбифом и бутылкой дешевого вина...

Ну, с Богом. Трогай, пятисотрублевая конка!

Античные раскопки

Когда шестилетний Котя приходит ко мне – первое для него удовольствие рыться в нижнем левом ящике моего письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь; а для меня первое удовольствие следить за ним, изучать совершенно дикариные вкусы и стремления.

Наперед никогда нельзя сказать, что понравится Коте: он пренебрежительно отбросит прехорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пенсне... Су-конная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырек из-под нашатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга.

Сначала я думал, что для Коти самое важное, издает ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырек благоухали довольно сильно.

Но Котя сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забрав ковав прехорошенький пакетик саше для белья.

Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает:

– Дядя, а это что?

– Обтиралка для перьев.

– Для каких перьев?

– Для стальных. Которыми пишут.

– Пишут?

– Да.

– А ты умеешь писать?

– Да, ничего себе. Умею.

– А ну-ка, напиши.

Пишу ему на клочке бумаги: «Котька прекомичный пужырь».

– Да, умеешь. Верно. А это что?

– Ножик для разрезания книг.

Молча берет со стола книгу в переплете и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперек.

После нескольких напрасных усилий вздыхает:

– Наверное, врешь.

– Ах, вру? Тогда между нами все кончено. Уходи от меня.

– Ну не врешь, не врешь. Пусть я вру – хорошо? Не гони меня, я тебе ручку поцелую.

– Лучше щечку.

Мир скрепляется небрежным, вялым поцелуем, и опять:

– Дядя, а это что?

В руках у него монетница белого металла с пружинками – для серебряных гривенников, пятиалтынных и двугривенных.

– Слушай, что это такое?

– Монетница.

Нюхает. Подавил пальцем пружинки, потом подул в них.

– Слушай, оно не свистит.

– Зачем же ему свистеть? Эта штука, брат, для денег. Вот видишь, сюда денежка засовывается. – Долго смотрит, прикладывая глазом.

– Она же четырехугольная!

– Кто?

– Да эти вот, которые... деньги.

Сует руку в боковой карманчик блузы и вынимает спичечную коробку – место хранения всех его капиталов.

Недоверчиво косясь на меня глазом (не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из его денежных запасов), вынимает измятый, старый пятиалтынный.

– Видишь – вот. Как же положить?

– Чудак ты! Сюда кладут металлические деньги. Твердые. Вроде как эта часовая цепочка.

– Железные?

– Да, одним словом, металлические. Круглые.

– Круглые? Врешь ты... Нет, нет, не врешь... Я больше не буду! Хочешь, ручку поцелую? Слушай, а слушай...

– Ну?

– Ты показал бы мне такую... железную. Я никогда не видел...

– Нет у меня.

– Что ты говоришь? Значит, ты бедный?

– Все мы, брат, бедные.

– Дядя, чего ты сделался такой? Я ведь не сказал, что ты врешь. Хочешь, поцелую ручку?

– Отстань ты со своей ручкой!

Снова роется Котя в разной рухляди и – только в действительной жизни бывают такие совпадения – вдруг вытаскивает на свет божий настоящий серебряный рубль, неведомо как и когда затесавшийся среди двух половинок старого разорванного бумажника.

– А это что?

– Вот же они и есть – видишь? Те деньги, о которых я давеча говорил.

– Какие смешные. Совсем как круглые. Сколько тут?

– Рубль, братуха.

Денежный счет он знает. Из своей спичечной коробки вытаскивает грязный, склеенный в двух местах, рубль, долго сравнивает.

Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка.

– Слушай, он же тяжелый.

– Ну так что?

– Как же их на базар брали?

– Так и брали.

– Значит, в мешке тащили?

– Зачем же в мешке?

– Ну, если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки... разные там яйца...

– Да мешок-то зачем?

– Пять-то тысяч штук отнести на базар надо или нет?

Мать каждый день дает пять тысяч!

– Э-э... голубчик, – смеясь, прижимаю я его к груди. – Вот ты о чем! Тогда и парочки таких рублей было предовольно!

Смотрит он на меня молча, но я ясно вижу – на влажных губах его дрожит, вот-вот соскочит невысказанная любимая скептическая фраза: «Врешь ты, брат!..»

Но так и не слетает с уст эта фраза: Котька очень дорожит дружбой со мной.

Только вид у него делается холодно-вежливый: видишь, мол, в какое положение ты меня ставишь, – и врешь, а усумниться нельзя.

Возвращение

«...Тарас тут же, при самом въезде в Сечь, встретил множество знакомых лиц... Только и слышались приветствия: «А, это ты, Печерица!» – «Здравствуй, Козолуп!» – «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» – «Ты как сюда зашел, Долото?» – «Здорово, Кидряга!» – «Здорово, Густый!» – «Думал ли я видеть тебя, Ремень?»¹⁴

И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?»

И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в Царьград...»

* * *

Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что со всем уж скоро побегут красные разбойники, что падет скоро Москва и сдастся Петроград...

Без толку, зря, как попугаи, к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи – все

¹⁴ «Тарас тут же...» – А. Т. Аверченко неточно цитирует фрагмент II главы повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

сплошные керенские, черновы и гоцлиберданы: «Приближается конец! Бьет двенадцатый час». Им ли, выращенным в затхлом табачном воздухе швейцарских кофеен и пивных, было дано учуять двенадцатый час нашей родины? Без толку, как попугаи, картавили они: «Бьет двенадцатый час! Бьет двенадцатый час!» И вовсе не бил он... Это шел пятый, шестой, седьмой час...

А вот теперь мы все, все наше русское огромное сердце, почуяли этот час ликвидации и расчета, и скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рев тысячи пушек: «Бьет двенадцатый час! К расчету!»

* * *

С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пылящая с натуги, понесется, как бешеная, на север – вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И будет чрево той птицы, этой первой ласточки, которая сделает весну, набито битком разным русским людом, взор которого, как магнитная стрелка, обратится к северу, а на лице напишется одна мысль, звучащая в такт лязгу колес: «Что там? Что там? Что там?»...

Там у них все! Жены, оторвавшиеся от мужей, мужья от жен, дети от родителей, там десятки лет свивавшиеся гнезда, там друзья, привязанности, дела и воспоминанья – там все,

что было так прочно налажено, так крепко сшито – и о чем целые годы никто не имел ни слуху, ни духу:

«Что там, что там, что там?»...

Вы, южане, сидящие тут на своих прочных, насиженных местах, – поймете ли вы ни с чем не сравнимое, небывалое еще во всемирной истории ощущение петербуржца, когда он впервые за полтора-два года спрыгивает с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами оставляя далеко позади себя носильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III¹⁵, выбежит на ступеньки вокзала и... поползет кверху бровь его:

– Где же памятник?! Его нет! То, что казалось нам привычным, несокрушимым, что ставилось на сотни лет, – исчезло!

Ах, друзья! Знаете ли вы ощущение человека, который столкнулся лицом к лицу с близким другом – и видит он с ужасом, что у этого друга нет носа. Провалился нос.

Вот какое ощущение будет у петербуржца, когда он увидит, что исчез огромный, неуклюжий, осмеянный в свое время, облитый ядом очередной неглубокой петербургской иронии, – но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как немой символ тяжелой длани царя – «Миротворца», как

¹⁵ ...промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III... – памятник Александру III стоял на Знаменской площади в Петербурге.

неотделимая часть нашего прекрасного, колдовского, волшебного Петербурга!..

Нет памятников. Провалился нос на лице.

И вдруг тут же на площади встретит он пробегающего знакомого, чудом из чудес выжившего, не протянувшего скелетообразных ног в этом аду.

И пойдут тут поцелуи и взаимные приветствия: «А что Парфентьев? Что Николай Иваныч? А где Полосухин? А что поделывает Горбачев?»

И услышит он в ответ, как в свое время Тарас Бульба, – что расстрелян Полосухин за саботаж, что замучили в чрезвычайке Парфентьева, что умер от голода на широком красавце Невском сиромаха Николай Иваныч, что и Лизочка Караваева повесилась от мук невыносимого «организованного» голода, и Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсяюкова – все, все «сошли под вечны своды».

Вздыхнет только приезжий петербуржец, свесит голову и тихо побредет по Невскому...

Батюшки мои! Да разве же это Невский?! Где его великолепные человеческие волны?! Где его могучий шум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, – вся та сложная симфония, которая слагается из людской молви, конского топа, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс?

Где его пышные стены, сверху донизу усеянные, униженные сплошь так, что и для визитной карточки нет места, – обвешанные вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичьим гамом пестрой шумной рекламы – лучшей свидетельницы бодрой, нормальной, веселой, деловой, хлопотливой, суетливой, энергичной жизни столицы?

Молчит немая улица, угрюмо принахмурились обнаженные, будто раздетые, лишенные своей пышной одежды – вывесок – дома.

И только внизу, у самой панели, как ажурные кружева изпод юбки развратницы, как дессу кафешантанной блудницы, – виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, воззваний и заклинаний обожравшейся, издыхающей гадины.

Ужасная улица – этот былой красавец Невский; тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на гордом прежде челе его.

Но идет все дальше, все дальше петербуржец – и вот уже его улица, вот уже его дом, уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотливо вил он семейное гнездо свое, где любил, боролся, падал и снова поднимался...

«Что там, что там, что там?»...

Цела ли обстановка? Осталось ли там хоть что-нибудь? И чудится ему отбитая штукатурка, разобранный паркет, которым вместо дров топили печи, ободранные обои, разбитые грязные стекла и сорванные с петель двери...

Дворник встречает его в воротах – тот же дворник – это уцелеют при всяких режимах и переворотах!

Но что это? Чудо из чудес! Сдергивает поспешно с головы шапчонку этот всероссийский привратник, и в глазах его уже не наглость зарвавшегося дешевого хама, а настоящая русская, сияющая добродушной радостью, ласка и приветливость.

– Да неужто ж барин? Вот-то радость какая, Господи! Заждались мы вас! Шутка ли – больше двух лет!..

– А что... моя... квартира?.. – с тайным трепетом спросит петербуржец, обнимая, как родного, как кровного брата, сияющего дворника.

– Цела-с, пожалуйста. Комиссар тут жил – тем только и сохранили! Пианино, правду говоря, маленько «Яблочком» расшатали да абажур в гостиной разбили... Позавчера только и бежал комиссар... Жидка Варвара на расправу!.. Вот с ключик.

Сладостное, чудесное ощущение!

Моя старая квартира! Мои картины, мои ковры, мои книги, на страницах которых, может быть, остались следы неуклюжих жирных пальцев, но тем дороже вы мне, мои книги, потому что этим самым вместо одной – две повести расскажете вы мне, когда голубоватым светом засветится родная лампа, когда приветливо затрещат дрова в камине, и я, придвинув к огню мягкое старое кресло, начну вас перелистывать, прихлебывая из стакана доброе старое бордо, чудом

уцелевшее под откидным сиденьем оттоманки.

И когда в эти тихие сумерки зазвонит вдруг телефон на письменном столе и голос друга прозвучит издали: «Я взял тебе билет в Мариинку, сегодня премьера», когда, переодевшись в вечерний костюм, выйдет петербуржец из дому и окунется в эту милую петербургскую туманную, слякотную полумглу, в которой так призрачно, еле намеченно светят матовые шары фонарей, когда окунется он в этот суевливыи го-мон огромной столицы, – схватится он за голову и подумает громко:

«Сон то был или явь? Дьявольское наваждение, бесовское действо или... на всю будущую жизнь глубокое, грозное, печальное *memento mori*...»

Дюжина ножей в спину революции

Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахнется, как курица:

– Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек – этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок – что и говорить – жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего спросим себя, положила руку на сердце:

– Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, – разве это революция?

Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом рока, революция – ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того – рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая

бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умильные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезземельком», «совбур» и «реввоенком» – так это уже не умильный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенец протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:

– Жижя, жижя!.. Дядя, дай жижю...

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижю, прикурить сигарки или скидывай пальто», – простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее – светлое, очищающее пламя, середина – зловон-

ный дым и копоть, конец – холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек – без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это – переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть – перевернул, избавить – избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, – готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:
– Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция – это молния, это гром стихийного божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

– Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский

поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.

Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок – вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, – понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие – купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения – тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»...

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства

и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается – сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это – хорошо бы, коли старушка, – а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, сташенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню – в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

– Правильно!!!

Фокус великого кино

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом – на бутылочке-то пыли сколькоросло – вековая пыль, благородная, – а теперь слушайте...

* * *

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину. Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей вверх, стал на площадку скалы – совершенно сухой – и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек

стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся – и плевком с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню – жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

* * *

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад – и пошло-поехало...

Передо мной – бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг – перо пошло в обратную сторону, будто соскабливая написанное, и когда передо мной – чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, селечницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали – и укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца – давно пора, – вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину – вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские

перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

– Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

– Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю».

Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радостях... С Манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» – восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не ви-

жу в серой мгле – почему так странно трясутся ваши плечи:
смеетесь вы или плачете?

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши – и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.

Но немые и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой – не на пяти, а на одной линейке, – быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таются в слове, но не тогда, когда душа морщится от реально-го прозаического трезвого слова, – когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония – слабая, бледная в слове...

* * *

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над сла-

бым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползется по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, – тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул – это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может – предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

– Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

– Моя.

– Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

– О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В

пятницу.

– Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

– Пять лет тому назад – как сейчас помню – заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки – крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой – половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлеба (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

– У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, – перебил, еле дыша, сосед.

– Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

– Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях... в сухарях, – я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки – о, для аромата только, исклю-

чительно для аромата, – выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки – гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этаякая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

– Не доели?!!

– Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски – не забывайте этого. Знаете, что такое – по-гамбургски?

– Это не яичница ли сверху положена?

– Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого – поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка – помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса – гам!

– Неужели жареного картофеля не было? – простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

– В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы – остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный такими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в

подливку, да зацепив все это вилокй, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

– Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенистым пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

– Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

– Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с полтиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет – рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

– Господа! Во что мы превратились – позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право – право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору – почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, –

вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

– Да! Поджаренный в масле! Пахнувший! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот – пусть ест!!

– Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились – кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнушимися ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой – они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шеп-

нул:

– А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей – такой, знаешь, маленький кусочек, – я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

– Нет, – шепнул сосед, – не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки...

Жадно слушали.

* * *

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трава, примятая сапогом

– Как ты думаешь, сколько мне лет? – спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

– Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

– Нет, серьезно. Ну пожалуйста, скажи.

– Тебе-то? Лет восемь, что ли?

– Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

– Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость.

Небось и женишка уже припасла?

– Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

– Господи, боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

– Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

– Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

– Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

- Ну раз стих – это дело десятое. Тогда не лень и пойти.
- По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:
- Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.
- Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.
- Знаешь, ты ужасно комичный.
- Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преуютно усадились на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, вползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

– Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

– Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

– Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

– Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро...

Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном Слове» прочитала.

– Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

– Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

– Что ж с ней такое?

– Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай.

– Бедный ты ребенок, – уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

– Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пиццать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пиццать?

– Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

– Ну ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

– Где там! Всю жизнь мечтал об этом – не удается.

– А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышной.

– Вишь ты, как пулеметы работают, – сказал я, прислушиваясь.

– Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарыхтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

– Ого, – вздрогнул я, – шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

– Знаешь, если ты не понимаешь – так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воеет, как собака. Очень комичный.

– Послушай, клоп, – воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щеки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. – Откуда ты все это знаешь?!

– Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое – не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

– Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* * *

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли – полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

Чертово колесо

I

– Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.

– Чем же весело?

– Ощущение веселое.

– Да чем же веселое?

– А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.

Это – разговор на «чертовом колесе»...

Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».

Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной; в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.

Вообще, «Луна-Парк» – это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело...

Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо – и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка

стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, – тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было – ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, – а вот поди ж ты – излюбленное это было дурацкое удовольствие – сокрушать десятки тарелок и бутылок... А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, – направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «таинственный замок»... Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу

публики, – снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам, Михайлы Арцыбашева¹⁶.

Вот что такое «Луна-Парк» – рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека и – широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.

II

Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и – ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» – даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий...

Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, – ведь это же «веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение – какая пышная

¹⁶ Михайла Арцыбашев – Михаил Петрович Арцыбашев (1878–1927) – автор напумевших романов «Санин», «У последней черты». С 1923 г. в эмиграции.

выставка!

И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся – трах! Вдребезги правосудие. Трах! – в кусочки финансы.

Бац! – и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.

А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт – благо шаров в руках много – и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители – французы, англичане, немцы – и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:

– Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..

Горяч русский дурак – ох, как горяч... Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он – центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.

III

А кто это там поехал вниз в «веселой бочке», стучаясь бо-

ками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу – из вагона ребенок вылетел, бац о другую – самого петлюровцы выбросили, трах о третью – махновцы чемодан отняли.

А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая... А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».

А этот «таинственный замок» – где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом, чудовищ – не чрезвычайка ли это – самое яркое порождение Третьего Интернационала – потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы – палачи всех стран, соединяйтесь!..

IV

Но самое замечательное, самое одуряюще схожее – это «чертово колесо»!

Вот вам февральская революция – начало ее, когда колесо еще не закутилось... Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности – Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:

– Пожалуйста, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков!¹⁷ Садись, не бойся. Тут весело.

– Чем же весело?

– Ощущение веселое...

– А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру... Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, – тогда удержишься... И ты, Гучков¹⁸, садись – не бойся... Славно закрутим... Ну... все сели? Давай ход! Поехала!

Поехала.

Несколько оборотов «чертова колеса» – и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, – Павел Милюков.

Взззз! – свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков – трах – и больно стучается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.

А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева¹⁹... Отталкивает его Скобелев, но – поздно... Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урага-

¹⁷ Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк. Один из организаторов партии конституционных демократов. В 1917 г. – министр иностранных дел Временного правительства.

¹⁸ Гучков Александр Иванович (1862–1936) – русский промышленник, лидер октябристов. В 1917 г. был министром военных и морских сил Временного правительства.

¹⁹ Скобелев Матвей Иванович (1885–1939) – министр труда Временного правительства.

на.

– А! – радостно кричит Церетели²⁰, уцепясь за ногу Керенского. – Дэржись крепче, как я. – Самые левые и самые правые летят, а мы – центр – удэржимся...

Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе²¹ – эх их куда выкинуло – к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».

Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре, – кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению... Любо молодому главковерху. Но вот у ног его закрутился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии – Гоцлибердан²², – уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево – но... для «чертова колеса» достаточно и этого!..

Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу

²⁰ Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – министр Временного правительства, один из лидеров меньшевизма.

²¹ Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) – меньшевик. В 1917 г. председатель Петросовета.

²² Гоцлибердан – имеются в виду Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) – эсер. После 1917 г. – лидер фракции эсеров в Петросовете. Либер (настоящая фамилия Гольдман) Михаил Исаакович (1880–1937) – один из лидеров Бунда, меньшевик. В 1917 г. – член исполкома Петросовета. Дан (настоящая фамилия Гурвич) Федор Ильич (1871–1947) – один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. был членом Петросовета.

выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.

Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертового колеса», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже – глядь! – налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис²³, Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» – Троцкий:

– К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!

– Взззз!..

А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.

– Ах, поймать бы!

²³ Нахамкис (Стеклов Юрий Михайлович) (1873–1941) – большевик, писатель. С 1917 г. редактор газеты «Известия ВЦИК».

Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы – всего два с полтиной!!!

«Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. – горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... – И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые – одна, вишь, дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!»

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

– Есть ли на тебе крест-то? – саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

«Ну вот остался у меня рупь целковый, – со вздохом подумал Пантелей. – А что на него сделаешь? Эх!..»

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос – так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжело сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

– За что же, за что?.. – шептали его дрожащие губы. – Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины – света божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!

* * *

Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

«Что ж я с ними сделаю, – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. – И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь – смерть хочется!»

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.

Купил фунт полубелого хлеба, бутылку сидра, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил сидро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

– Почему же, – шептали его дрожащие губы, – почему богачам все, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает

себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим – ничего?..

* * *

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака сваял, братец ты мой!

Новая русская сказка

(Вместо предисловия)

Матери!

Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.

Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!..

Вот как было дело:

Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь – он подарил ей красную шапочку.

Почему именно красную?

Именно потому, что дурак красному рад.

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:

– Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.

– Я, конечно, пойду, – отвечает Красная Шапочка. – Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки – это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:

– Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово... Да ты не плачь – я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.

– А что же я бабушке-то скажу?

– Скажи – Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.

Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:

– Принесла?

– Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит – все слопал!

Только облизнулась бедная старуха.

А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.

– Отпусти ты его, буржуя, – советует Красная Шапочка. – Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.

Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес – из-за куста давешний мальчик:

– А что, товарищ, не слопать ли нам козла?

– А что я бабушке скажу?

Подмигнул мальчик, хихикнул.

– А Серый русский Волк на что? Вали на него – вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?

– Да ежели потрясти – есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.

– А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!

Пошли и «пришили» старушку.

Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.

А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.

Приходит – те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.

– Ловко сработано, – с горечью подумал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:

– Отчего у тебя такой язык длинный?

– Чтобы на митингах орать.

– Отчего у тебя такой носик большой?

– При чем тут национальность?

– Отчего у тебя большие ручки?

– Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!

– Отчего у тебя такие ножки большие?

– Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убежать?!

– Ну, нет, брат, – вскричал Волк и в тот же миг – гам! –

и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.

В новой сказке – к черту охотника.

Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить...

Короли у себя дома

Все почему-то думают, что коронованные особы – это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.

Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.

Например, взять Ленина и Троцкого.

На официальных приемах и парадах они – одно, а в своей домашней обстановке – совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.

Ну, скажем, вот:

* * *

Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата. За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.

Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, – олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин – madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала.

И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковриковые туфли.

Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.

Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.

– Налей еще, – говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.

– Тебе покрепче или послабее?

Молчание.

– Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.

– Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.

– Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.

– Поехала!

Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:

– Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?

– Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..

– Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь...

– Левушка... Что за слово...

– Э, не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?

– Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует... Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!

– Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить...

– Что ты мне своей организацией глаза колешь?! – вспылil Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. – Нечего сказать – организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.

– А чего ж они, подлецы, не убирают... Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.

– Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи – засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет – курица 8000 рублей, крупа – 3000, масло... э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.

– Ну что ж... разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает – можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления...

– Э, да разве только это. А венгерская социальная революция... Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:

Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем...

– Раздули пожар... тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!
– Замолчишь ли ты, проклятая баба! – гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. – Не хочешь, не нравится – ска-тертью дорога!

– Скатертью? – вскричал Ленин и подбоченился. – Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы, лучше пошла бы за Луначарского.

Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.

– Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану – искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал – чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну довольно! Если меня спросят – скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной армии. А то если этих мерзавцев не подтягивать... Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман чистый! Что у нас сегодня на обед?

Вот как просто живут коронованные особы.

Горноста́й да порфи́ра – это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.

Усадьба и городская квартира

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность, России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа – все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.

Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками: – Да, что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его – сколько ни тащат, все растащить не могут...

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

– Грабь награбленное.

Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей – «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила; она накапливала.

Закрою я глаза – и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий, ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского – такого русского, близкого

сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.

Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:

– Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоящей на молодых остропахнувших листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка...

– А вы пока маринованных грибков – домашние! И вот рыбки этой – из собственного пруда... А квасом – прямо говорю – могу похвастаться; в нос так и шибает – сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.

– Эй, – кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. – По

случаю приезда дорогого гостя – выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели...

– Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу – вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная... Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский...

Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окованных же-

лезом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе – все спит – плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скудно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего...

Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.

* * *

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.

Ясно, что, когда с квартиры съезжают, она какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Переехала сюда «новая власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали – даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках – ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплюсченную голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь – сутки прочь.

Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.

Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.

Неприятно живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин новой России.

Хлебушко

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопаных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс...

– Тебе чего, убогая?

– Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

– Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

– Вишь ты, – вздохнула баба в стоптанных лапотках. – Сподобилась видеть.

– А ты кто будешь? – небрежно спросил швейцар.

– Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: какие-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зыркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и, хотя был иностранец, но тут же ска-

зал целую строку из Некрасова:

– «Наш не любит оборванной черни»... А впрочем, стой – мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и оципаные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному – расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов – она поклонилась ниже других.

– Вишь ты, – тихо заметила она швейцару. – Это, верно, самый главный!

– Какое! – пренебрежительно махнул рукой швейцар. – Внимания не стоит. Румын.

– А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь – ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания... Даже зависти не было в этом робком сердце.

* * *

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил

его:

– Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

– Разве не узнали? Россия это.

– Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время – разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется... По-моему, это шокинг.

– Да... Воображаю, что у нее там в узле... Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.

– Как вы говорите?... хлеб?

– Да. А что ж еще?

– Вы... уверены, что там у нее хлеб?

– Я думаю.

– Гм... да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я – сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

* * *

Вернулся через пять минут, оживленный:

– Итак... На чем мы остановились?

– Коллега, у вас на подбородке крошки...

– Гм... Откуда бы это? А вот мы их платочком.

* * *

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.

– Ну, слава богу... Сам-то обещал спомочь. Теперь, поди, недолго и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжело ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

Эволюция русской книги

Этап первый (1916 год)

– Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради бога, не «Сфинкса» – у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» – всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш-Судковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..

Этап второй (1920 год)

– Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия – и ни одного нет. Что ж мне делать?

– Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

– Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Опи-

сание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она – вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»...

– Ну вот и берите любую.

– Слушайте... А «Памятники Олонецкой губернии» – интересная?

– Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.

Этап третий

– Слышали новость?!!

– Ну, ну?

– Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.

– А как называется книга?

– Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.

– Побегу и я.

– Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.

– Как же это так: без начала, без конца?

– Подумаешь – китайские церемонии.

Этап четвертый

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера – читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

– Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?

– Выучил наизусть.

– Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?

– Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.

– А у него почерк хороший?

– При чем тут почерк? Книга напечатана.

– Виноват, это как же?

– А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут – оно и отпечатается.

– Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папирочку! Оля, Петя, Гуля – идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделявал в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

Этап пятый

– Послушайте! Хотя вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.

– А в чем дело?

– Слушайте... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий – не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный – и мыло, и свечи, и сметана – обо всяком таком описано. Прочту – верну.

– Да... все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот – взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные... У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

Этап шестой

– Откуда бредете, Иван Николаевич?

– А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.

– Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть!

– Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая – на «И» – почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума.

Русский в Европах

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был...

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

– Вы, кажется, англичанин? – спросил француз высокого бритого господина. – Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.

– После вас, – с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. – Французы в минувшую войну делали чудеса... В груди француза сердце льва.

– Вы, японцы, – говорил немец, попыхивая сигарой, – изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности...

– Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», – скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:

– Замечательный вы народ, венгерцы!

– Чем? – искренно удивился венгерец.

– Ну как же... Венгерку хорошо танцуете. А однажды я

купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезать венгерским – самое святое дело.

– И вы, греки, хорошие.

– Да что вы говорите?! Чем?

– Ну... вообще. Приятный такой народ. Классический.

Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.

Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:

– Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему, одна из лучших наций в мире!

– Нет, не турок.

– А кто же, осмелюсь спросить?

– Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?

– Чрезвычайно интересно узнать.

– Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завоются и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебе-

тали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.

– Русский? Да что вы говорите? Настоящий?

– Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского – смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.

– Бедняга!

– Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?

– Смотрите, вон русский сидит.

– Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?

– Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились.

Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

– Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили... как бы он его не тово!

Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

– Очень вас большевики мучили? – спросил добрый японец.

– Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?

– Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?

– А что такое взятка? Напиток такой или танец?

– Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России... А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?

– А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?

– Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?

– А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока...

– Горит!! – крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.

– Что горит? Где? Боже мой... А мы-то сидим...

– Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка – как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»...

Сгущались темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку «Поммери-сек», а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

– Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там... «Мон ами, да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните?²⁴ Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал – наш Кремль поганить, нашу дор... доррогую Россию губить, а? А венгерец... тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез. Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать... а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько... Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую... «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном... И долго лежал он так, неразгаданная мя-

²⁴ Братство (фр.).

тущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:

– Господин... Тут счет.

– Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.

Осколки разбитого вдребезги

Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половиной солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем, – одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить...

У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появляется в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.

Другой – маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями чело- века, привыкшего повелевать. Он был директором огромно-

го металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он – приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне Зоологического сада.

Наконец, первым раскачивается сенатор:

– Резкие краски, – говорит он, указывая на горизонт. – Нехорошо.

– Аляповато, – укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. – Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.

– А помните наши петербургские закаты...

– Ну!!

– Небо – розовое с пепельным, вода – кусок розового зеркала, все деревья – темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне...

– И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста...

– А кусочек канала, где Спас на Крови...

– А тяжелая арка в конце Морской, где часы...

– Не говорите!

– Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?

– Не говорите!

* * *

Оба старика поникают головами... Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, ублаживаемый – все назад, назад, назад...

– Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?

– Да уж Лапицкий²⁵ был – ловкая шельма! Умел сделать.

Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?

– А второй акт «Кармен»?

– А оркестр в Мариинке?²⁶ Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели – Господи, думаешь: где же это я – на земле или на небе?

– Ах, Направник, Направник!..²⁷

Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет...

Рядом два восточных человека, в изумительно выютюжен-

²⁵ Лапицкий Иосиф Михайлович (1876–1944) – оперный и драматический артист, режиссер. Основал в Петербурге «Театр музыкальной драмы» в 1912 г.

²⁶ Мариинка – Мариинский театр в Петербурге, построен архитектором А. К. Кавосом в 1860 г.

²⁷ Направник Эдуард Францевич (1839–1916) – русский дирижер, композитор. По происхождению чех, в 1861 г. переехал в Россию, по его признанию, «из-за симпатий к России, как у всех чехов». Автор опер «Нижегородцы» (1868), «Дубровский» (1894).

ных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:

– С утра только я и успел взять из таможни 7 ящичков лимонов и 12 – спичек. Понимаешь?

– А Амбарцун?

– Амбарцуна мануфактурой завалили.

– А Вилли Ферреро в Дворянском собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала...

– А что с какао?

– Амбарцуна какаоом завалили.

– Чего я никогда уже, вероятно, не услышу – это игры Гофмана...²⁸

– А помните, как Никиш...²⁹

Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.

– Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч...

– А помните «Медведя»?

– Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

– А могли закусить и горяченьким: котлетками из ряб-

²⁸ Гофман Иосиф (1876–1957) – польский пианист, неоднократно гастролировал в России с 1895 по 1913 г.

²⁹ Никиш Артур (1855–1922) – венгерский дирижер и композитор.

чика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... Да!!!
Слушайте – а расстегаи?!

– Ах, Судаков, Судаков!..

– Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей – пойдешь к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинжером... Имеешь 10 целковых – иди в «Вену» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню – целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых... А есть у тебя всего полтинник – иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь...

– Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..

– А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает... Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»... Ах, Зуппе!³⁰ Ах, Оффенбах!..

Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают – и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами... На каком языке разговор?..

– А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету, скорей»...

³⁰ Зуппе Франц фон (настоящие имя и фамилия Франческо Эценьеле Зуппе-Демелли) (1819–1895) – австрийский композитор и дирижер, один из создателей венской оперетты.

А Джонсовская «Гейша»?..³¹ «Глупо, наивно попала в сети я»...

– Ну!.. А «Луна-Парк»!

– А Айседора!³²

– А премьеры в Троицком или в Литейном!!

– А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..

– А аттракционы в Вилла Роде?..

– А откровения психографолога Моргенштерна! Хе– хе...

– А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской газеты»?!³³

– Да! С романом Брешки³⁴ внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся «Боливаром», вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе...

– А «Сатирикон»³⁵ по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом...

³¹ Джонсовская «Гейша» – популярная оперетта английского композитора Сидни Джонса (1861–1946).

³² Дункан Айседора (1877–1927) – американская танцовщица, в 1921–1924 гг. жила в СССР.

³³ «Петербургская газета» – политическая и литературная газета (1867–1918). С 20 августа 1914 г. выходила под названием «Петроградская газета».

³⁴ ...роман Брешки... – Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–1943) – прозаик, журналист. Автор многочисленных «бульварных» романов («Гадины тыла», 1915; «Ремесло Сатаны», 1916, и др.). С 1920 г. – в эмиграции.

³⁵ «Сатирикон» – русский еженедельный сатирический журнал. Выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. С 1908 г. (№ 9) редактором был А. Т. Аверченко.

– А премьеры андреевских пьес... Какое волнующее чувство.

– А когда художественники приезжали...

И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:

– Чем им мешало все это...

Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.

– Возьмите билеты, господа...

– Мы... это... нам не надо. Почем билеты?

– По пятьсот...

– Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..

– Помилуйте, у нас музыка...

– Пойдем, Алексей Валерьяныч...

Понурившись, уходят.

У выхода приостанавливаются.

– А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки... Музыка тоже играла...

– А «Канавка у Дворца»³⁶. «Уж полночь, а Германна все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза.....

– За что они Россию так?..

³⁶ «Канавка у Дворца» – сцена из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского (действие III, картина II).

Кипящий котел

Введение

Зачем я выпускаю «Кипящий котел»?

Человеческая память – очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями...

Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией:

– Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой памяти... Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался – решительно не помню... Так что, если доверяться только одной памяти – я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме...

Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом: мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и – еще год-полтора – вся эта эпопея «сидения» станет бледным серым расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.

Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки, – одним словом, я хочу, чтобы все уплывающее из нашей памяти расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий, бумаге.

Мой кипящий котел – это Крым эпохи «врангелевского сидения».

Что это за удивительный, за умилительный период: в одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки, и «едоки первой категории» – и все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга: мелких букашек поедали караси, карасей – щуки, щук – едоки первой категории, а кипящий распад «едоков» снова поедался букашками, червячками и таракашками.

Пройдет два-три года – и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая:

– А сколько это я платил в Крыму за бутылку лимонаду? Не то 15 целковых, не то полторы тысячи? Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за 30 тысяч... Но почему я потом за гроб для отца заплатил 800 тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара? Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики? Меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других, ба-

ставали?

И не будет ответа! Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой...

Книгой «Кипящий котел» я все это хочу закрепить. Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина пронизывает каждую строчку своим светлым лучом – и это моя скромная заслуга перед историей.

Наши будущие дети! В заброшенной отцовской библиотеке вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее – и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два: бред сумасшедшего графомана?!

Нет, дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, пережили дикий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..

А. Аверченко

I. Оскудение и упадок

Старый Сакс и Вертгейм

Настроение плохое, с утра серый упорный дождь, и все окружающее тоже приняло серую окраску.

Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением: свирепо ругаться.

Довольно добродушия! Решил называть все вещи их собственными именами, ставить точки над «i», ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, развалиться не в своих санях и, вообще, гнаться за двумя зайцами – может быть, поймаю обоих и тут же зарежу, каналий, и того, и другого.

* * *

Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу – на нем старый, порыжевший фрак.

Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я: будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся.

Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя

шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне. Хорошо шивали деды в старину.

Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.

И туфли лакированные узнал я – вейсовские.

Держитесь еще, голубчики?

Видали вы виды... Сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного – много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл...

А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины, и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч.

Не заменит потому, что получает он десять тысяч, а фрак и ботинки стоят двадцать, а когда он сдерет за выход двадцать тысяч – ваши новые заместители, многоуважаемый фрак и ботинки, будут стоить сорок тысяч.

Махнет рукой ваш хозяин и скажет:

– Нет, не догнать.

И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в ка-

кой-нибудь Армянск – ведь пить-есть надо даже гениальному человеку!

Так призадумался я, сидя в театре, потом очнулся, обвел глазами ряды, и показалось мне, что рядом со мной, и впереди и сзади, сидят два совершенно различных сорта фарфоровых статуэток...

Одни – старые, потертые, в обветшавших, но изящных, художественно помятых, мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где, ботинках – от Вейса, Королькевича, Петерсона... Статуэтки, нечто вроде старого Сакса или Императорского фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины платят огромные деньги.

И другие статуэтки – новые, сверкающие, в пальто с иголки, в дурно сшитых многотысячных лакированных ботинках с иголки, чисто выбритые, иногда завитые.

Это – ярко раскрашенное аляповатое фарфоровое изделие от берлинского Вертгейма, выпущенное в свет в тысяче штампованных одинаковых экземпляров. Это – новые миллионеры.

Первые статуэтки элегически грустны, как, вообще, грустно все, на чем налет благородной старины, вторые – тошнотворно самодовольны.

У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь, и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь самая правильная и что другой и быть не может.

Да знаете ли вы, тысяча чертей и одна ведьма вам в зубы,

что вы оскверняете своими свинячьими мордами это место, где творит сейчас великий артист вечную красоту!..

Как вы сюда попали? Вон отсюда!

Идите в кафе, на пристани, в мануфактурные магазины – пухните там вдвое от ваших дешевых миллионов, но не лезьте так нагло в храмы, не сморкайтесь в кулак, когда служат литургию Красоте!

* * *

Весь старый Сакс – профессора, инженеры, писатели, адвокаты, доктора и артисты – уже давно не делают себе маникюра. И, однако, как изящны линии их нервных белых рук, как красиво розовеют их выпуклые, блестящие без маникюра ногти...

Недавно я зашел в парикмахерскую... Около маникюрши маячила очередь, всё народ дюжий, с корявыми кривыми лапами, а она в это время отделявала пятерню какому-то бывшему подвальному мальчику – шершавую красную пятерню, – начищая плоские рубчатые ногти с яростью, с какой сапожный чистильщик наводит глянец на выдавшие виды сапоги кругосветного путешественника.

И подумал тут я:

«Дурак ты, дурак, бывший подвальный мальчик... Если бы твоя рука по-прежнему оставалась красной рабочей рукой – я, если хочешь, поцеловал бы ее благоговейно, пото-

му что на ней написано святое слово «труд»... Но что ты теперь будешь делать этой отлакированной лапой? Подписывать куртажную расписку на сто пудов масла по пяти тысяч за пуд или неуклюже облапишь хрупкий фужер, наполненный заграничным шампанским, завершая в кабаке выгодную сделку на партию кофе из гималайского жита?..

Хороший маникюр тебе сделали...

А ведь, судя по некоторым признакам, ой, как редко ты бываешь в бане, бывший подвальный мальчик.

Надо бы чаще...

Кстати, я тебя видел в магазине Альшванга – ты покупал за три тысячи французские духи, с хитростью дикаря стремясь заглушить ароматом Убигана природный, столь выдающий тебя запах.

И обливаешься ты этими духами так щедро, что впору бы тебе и водой так обливаться.

А джентльмен – тебе, вероятно, незнакомо это слово, подвальный мальчик? А джентльмен в потертом пиджаке уже 4 года как не душится духами – и все же от платья его идет тонкий, еле уловимый запах «Шипра» Коти – такого «Шипра» для вас теперь и не выделывают, – и этот еле уловимый старый, бывший запах грустен и прекрасен, как аромат увядшего, сплющенного в любимой книге цветка.

Ну что ж... Теперь вы в силе, вертгеймовское исчадие...

Что ж... Лезьте вперед, расталкивайте нас, занимайте первые места – это вам не поможет, – так жить, как мы жили,

вы все равно не умеете.

Может быть, многим из нас место не в теперешней толчее, а где-нибудь на полузабытой пыльной полке антиквара, но лучше забытая полка в углу, в полумгле, робко пронизанной светом синей лампадки перед потемневшим образом, чем бойкий каторжный майдан...»

Бал у графини Х...

...Графиня вошла в бальную залу – и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей...

Она была одета в платье из серебристого фая, отделанного валансьенскими кружевами и лионским бархатом... На мраморной шее сверкало и переливалось роскошное бриллиантовое кольцо, в ушах мерцали теплым светом две розовые жемчужины, царственная головка венчалась многотысячным парадом из перьев райской птицы.

Два молодых человека в черных фраках с огромными вырезами белых шелковых жилетов, стоя у колонны, тихо беседовали о графине:

– Вероятно, она дьявольски богата?

– О да. Отец дает за ней пятьсот тысяч. Кроме того, у нее тряпок – шелковых платьев, белья самого тонкого, батистового, похожего на паутинку (мне, как другу семьи, показывали), – всего этого тряпья наберется тысяч на 50. Три сундука и шкаф битком набиты...

– Parbleu!³⁷ – вскричал молодой щеголь, небрежно вынимая из кармана плоские золотые часы с жемчужной монограммой: – Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс!

И было время: оркестр, невидимо скрытый на хорах, заиграл в этот момент упоительный вальс – и благоухающие пары закружились...

* * *

Так романисты писали раньше.

* * *

А вот так романисты должны писать теперь.

* * *

...Графиня вошла в бальный сарай – и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей...

На графине было платье из роскошного зеленого ситца, отделанное настоящими костяными пуговицами... На алебастровой шее сверкало и переливалось роскошное кольцо из кусочков каменного угля, в крохотные ушки были продеты две изящных, еще не использованных, спички, а царствен-

³⁷ Parbleu (фр.) – черт возьми.

ная головка венчалась пером настоящей многотысячной домашней курицы.

Два молодых человека в изящных фраках, сшитых из мучных мешков, тихо беседовали о графине:

– Да! Отец дает за ней 18 миллионов деньгами, 2 пары шерстяных чулок и флакон из-под французских духов!

– Ничего подобного, – вмешался третий, одетый в кретоновый смокинг из обивки кресла, лорнируя графиню в осколок пивной бутылки, вделанный в щипцы для завивки. – Отец дает за графиней гораздо больше 18 миллионов!!

– Именно?

– Он дает за ней корову с телятком и двух уток.

– Parbleu! – вскричал молодой щеголь в рединготе из четырех склеенных номеров вчерашней газеты. – Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс!..

Он вынул из кармана будильник на дверной цепочке, бросил на него косой взгляд и помчался к графине.

И было время: граммофон хрипло заревел упоительный вальс, танцующие сняли ботинки, чтобы зря не трепать подметок, – и пары, шлепая изящными пятками, закружились...

Страна без мошенников

Три человека собрались на пустынном каменистом берегу моря, под тенью, отбрасываемой огромной скалой; три человека удостоверились – не подслушивают ли их, и тогда стар-

ший из них начал:

– Именем мошенничества и преступления – я открываю заседание! Мы все трое, бывшие завсегдатаи тюрьмы и украшение каторги, собрались здесь затем, чтобы с сего числа учредить преступное сообщество для совершения краж, грабежей и вообще всяких мошенничеств. Но... – насмешливо усмехнулся председатель, – может быть, за то время, что мы не виделись, вы уже раскаялись и хотите начать честную жизнь?

– Что ты! – укоризненно вскричали двое, бросая на председателя обиженные взгляды. – Мошенниками мы были, мошенниками, надеюсь, и умрем!

– Приятно видеть таких стойких негодяев, – одобрительно сказал председатель.

– Да! И в особенности под руководством такого мерзавца, как ты.

– Господа, господа! Мы здесь собрались не для того, чтобы расшаркиваться друг перед другом и отвешивать поклоны и комплименты. К делу! Что вы можете мне предложить?

Тогда встал самый младший мошенник и, цинично ухмыляясь, сказал:

– Я знаю, что теперь сливочное масло на базаре нарасхват. Давайте подделывать сливочное масло!

– А из чего его делать?

– Из маргарина, желтой краски, свечного сала...

Председатель усмехнулся:

– А известно ли моему уважаемому товарищу, что сейчас свечное сало и краска – дороже сливочного масла?

– В таком случае, простите. Я провалился. Тогда говори ты.

Встал второй:

– Я знаю, господа, что в одном торговом предприятии, в конторе, в несгораемом шкафу всегда лежит несколько миллионов!

– А как мы вскроем несгораемый шкаф?

– Как обыкновенно: баллон с кислотой, электричество, ацетилен, автоматические сверла...

– Где же мы их достанем?

– Раньше всегда покупали в Лондоне.

– Ну подумай ты сам; сколько будет стоить – поехать одному из нас в Лондон, купить всю эту штуку на валюту, погрузиться, заплатить фрахт, выгрузить на месте, доставить на извозчике... Я уверен, это влетит фунтов в 80, т. е. миллионов в восемь! А если в шкафу всего пять миллионов? Если три? Да если даже и десять – я не согласен работать из 20 процентов. Тогда уж прямо отдать свой оборотный капитал под первую закладную.

– Мне интересно, что же в таком случае предложит председатель – так жестоко бракующий наши предложения?

– А вот что! Я предлагаю подделывать пятисотрублевки. Во-первых, они одноцветные, голубые, во-вторых, рисунок не сложный, в-третьих...

– А что для этого нужно?

– Медная доска для гравировки, кислота, краска, бумага, пресс для печатания.

– Сколько же мы в месяц напечатаем таких фальшивок?

– Тысяч десять штук!

Средний мошенник взял карандаш и погрузился в вычисления...

– Сейчас вам скажу, во что обойдется одна штука.

– Ну что же?

– Н-да-с... Дело любопытное, но едва ли выгодное. Одна пятисотрублевка будет нам стоить 720 рублей!

– Черт возьми! А как же правительство печатает?

– Как, как?! У них бумага и краска еще старого запаса.

Долго сидели молча, угрюмые, раздавленные суровой действительностью.

– Ну и страна! – крикнул председатель. – За какое мошенничество ни возьмись – все невыгодно!

– А что, если, – робко начал самый младший мошенник, – что, если на те деньги, которые у нас есть, – купить две-три кипы мануфактуры, да сложить ее в укромное местечко, да, выждав недели три, продать.

– Что ж из этого получится?

– Большие деньги наживем.

– Постой, какое же это мошенничество?

– Никакого. Зато выгодно.

– Постой! Да ведь мы мошенники! Ведь нам как-то непри-

лично такими делами заниматься!

– Почему?

– Ну вот предположим, полиция узнает о нашей мануфактуре – что она нам сделает?

– Ничего.

– Вот видишь... Как-то неудобно. Я не привык такими темными делами заниматься.

– Но ведь не виноваты же мы, что это выгоднее, чем фальсификация продуктов, фальшивые бумажки и взлом касс!

– Бож-же! – вскричал председатель, хватаясь за голову. – До какого мы дошли падения, до какого унижения! С души воротит, тошнит, а придется заняться этой гадостью!

И они встали, пошли в город. Занялись.

* * *

Вот почему теперь так мало мошенников и так много спекулянтов...

Русская сказка

Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку:

– В одном лесу жил мальчик и жила Баба-Яга Костяная Нога... Впрочем, ну ее, эту Бабу-Ягу, правда?

– Ну ее, – охотно согласился ребенок.

– Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед и баба, у них была курочка-ряба... Хотя скучно это! Пусть она провалится, эта курочка!

– И дед с бабой пусть провалятся! – сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения...

– Верно. Пусть они лопнут – и дед, и баба. А вот эта – так замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк...

– Пусть они тоже лопнут... – внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.

– И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то... слушай!

* * *

...Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня было шесть.

– У кого реквизирировал?

– Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто ка-

кую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат! И вот однажды приезжаю я...

– С фронта?

– С которого? Никакейших тогда фронтов не было!

– А что ж мужчины делали, если нет фронта! Спекулировали, небось?

– Тогда не спекулировали.

– А что же? Баклуши били?

– Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин игрушек...

– Чтой-то – игрушки?

– Как бы тебе объяснить... Ну, например, видел ты живую лошадь? Так игрушка – маленькая лошадь, неживая; человечки были – тоже неживые, но сделанные, как живые. Пищали. Даванешь живот, а оно и запищит.

– А для чего?

– Давали детям, и они играли.

– Музыка?

– Чего музыка?

– Да вот, играли.

– Нет, ты не понимаешь. Играть – это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку.

– И что ж получится?

– Вот он и сидит верхом.

– Зачем?

– Чтоб тебе было весело.

– А кто ж в это время играет?

– Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако – вернемся. Вот, значит, мы так и жили...

– А что ты делал?

– Я был директором одной фабрики духов.

– Чтой-то?

– Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.

– А зачем?

– Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел.

– Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы.

– Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.

– Во что закатывали?

– Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку, оркестр целый... Сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали...

– Чтой-то?

– Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки, и начинали оба топтать ногами и скакать.

– Зачем?

– Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин.

– Небось, дорого с них сдирал за ужин?

– Кто?!

– Ты.

– Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое.

– Сколько ж тебе это стоило? Небось – за... этого... заказывал в копеечку?

– Ну как тебе сказать... Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну вот сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь?

– Полторы тысячи.

– Правильно. Так раньше – бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки.

– Значит, я сегодня целый бал выпил?

– Представь себе! И не лопнул.

– Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе.

Хе-хе-хе!

– Да уж. Это тебе не Баба-Яга, чтоб ей провалиться!

– Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.

– Да... И главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и до века!

II. Обнищание культуры

Володька

Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.

– Что это за фрукт? – осведомился я.

– Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему – Володька. Ты чего тут торчишь?

– Да я уже все поделал.

– Ну черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?

– Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским – ощутительная разница, – подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

– Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

– Каркнул ворон – «Никогда!»

– Ого! – рассмеялся я. – Мы даже Эдгара По знаем... А

ну, дальше.

Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:

Адский дух или тварь земная, —
произнес я, замирая, —
Ты – пророк. И раз уж
Дьявол или вихрей буйный спор
Занесли тебя, крылатый,
В дом мой,
Ужасом объятый,
В этот дом, куда проклятый
Рок обрушил свой топор,
Говори: пройдет ли рана,
Что нанес его топор?
Каркнул Ворон «Never more»³⁸.

– Оч-чень хорошо, – подзадорил я. – А дальше?

– Дальше? – удивился Володька. – Да дальше ничего нет.

– Как нет? А это:

«Если так, то вон, Нечистый!

В царство ночи вновь умчись ты!»

– Это вы мне говорите? – деловито спросил Володька. –

Чтоб я ушел?

– Зачем тебе. Это дальше По говорил Ворону.

– Дальше ничего нет, – упрямо повторил Володька.

³⁸ Никогда (англ.).

– Он у меня и историю знает, – сказал со своеобразной гордостью приятель. – Ахни-ка, Володька!

Володька был мальчик покладистый. Не заставляя себя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:

– ...Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтезкье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора...

– Постой, постой?! Почему ты с середины начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал?

– Я не знаю кто. Там выше ничего нет.

– Какой странный мальчик, – удивился я. – Еще какие-нибудь науки знаешь?

– Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сморщивающих плевритах и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе...

– Черт знает что такое! – даже закачался я на стуле, ошеломленный.

– Н-да-с, – усмехнулся мой приятель, – но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли.

– Это которое на обороте «Восточные облака»?

– Во-во.

И Володька начал, ритмично покачиваясь:

Нам были так сладко желанны они,

Мы ждали еще, о, еще упоенья
В минувшие дни.
Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем
Минувшие дни.
И как мы над трупом ребенка рыдаем,
И муке сказать не умеем: «Усни»,
Так в скорбную мы красоту обращаем —
Минувшие дни.

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.

– Черт вас подери – почему вы меня дурачите этим вундеркиндом. В чем дело – объясните просто и честно?!

– В чем дело? – хладнокровно усмехнулся приятель. – Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники – издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на заvertку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории Государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая... Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?

– Но Кочубей богат и горд
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами.

Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей!..
И то сказать...

Дальше оторвано.

– Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот. – У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:

– А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!

– То не в Золя была, – деловито возразил Володька. – То была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!

* * *

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька...

Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.

Косьма Медичис

Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького «художественно-комиссионного» магазина и, взгля-

девшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ»:

– «...Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка, совершенно пожелтевшая, – а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посередине...

Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве: «Про-

водник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

– Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

– Где? – удивился он. – Это? Помилуйте! Да это картина.

Мы это продаем.

– Как продаете? Да кому ж это нужно...

– Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указующего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу.

– Вот она, картинка-то. Купите, господин.

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибиным, Ре-Ми, Александром Бенуа³⁹, – и рассмеялся.

³⁹ Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) – русский живописец, график, декоратор. Член творческого содружества «Мир искусства». Работал в «Сатириконе» с Аверченко. С 1925 г. жил за границей. Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) – русский художник, автор стилизованных иллюстраций к произведениям русского фольклора. Член «Мира искусства», в начале 10-х гг. работал в «Сатириконе» вместе с Аверченко. Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – русский художник, историк искусства. Один из основателей группы «Мир искусства». С 1926 г. жил во Франции. Ре-Ми – псевдоним русского художника Николая Владимировича Ремизова (1887–1961), постоянного сотрудника «Сатирико-

– А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе-канотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

– Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки? Занятно!

– Купите! Замечательная вещь, – захолопотал хозяин, почуввав настоящего покупателя. – Настоящая олеография! Это не то что масляные краски... Те – пожухнут и почернеют... А это – тряпкой с мылом мойте – сам черт не возьмет!

– Цена? – уронил покровитель искусств, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи...

– Четыре тысячи.

– Ого. И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку «Дюбек лимонный» – шесть тысяч.

– Та же больше. И потом на картоне наклеена – возьмите это во внимание!

– Ну, заверните. А фигур нет?

– То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: Диана с луком.

– Садит, что ли?

– Чего?

– Лук-то.

– Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слоге) – настоящий, неподдельный гипс! Вещь – алебастровая!!

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой, удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:

– Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств – не Косьма Медичис?

– Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Оне тут у портного в мастерах служат и огромные деньги нынче вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, девать некуда – вот оне в валюту все перегоняют – вещи покупают. И опять же, искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри Бердслеями, Ропсами, Билибиными и Александрями Бенуа⁴⁰.

⁴⁰ Сомов Константин Андреевич (1869–1939) – русский художник. Член «Мира искусства». С 1923 г. в эмиграции. Бердслей Обри (1872–1898) – английский художник-модернист. Ропс Фелисьен (1833–1898) – бельгийский художник-модернист.

Шире дорогу! Новый Любим Торцов идет!

Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой – «Покупайте калоши «Проводник»!

– Ars longa, vita brevis!⁴¹

Разговоры в гостиной

XX век. Годы 1910 – 1913

– Не знаю, куда в этом году поехать за границу... Все так надоело, так опостылело... Не ехать же в эту олеографическую постылую Швейцарию, с ее коровами, молочным шоколадом, альпенштоками и пастушьими рожками.

– А на Ривьеру?

– Тоже нашли место! Это проклятое, вечно синее небо, это анафемское вечно лазурное море, эти экзотические пальмы, эта назойливая красота раскрашенной открытки!.. И в Германию я не поеду. Эта сытость животного, эта дешевка мне претит! Махнуть в Норвегию, что ли, для оригинальности? Или в Голландию...

– ...Вчера я перечитывала «Портрет Дориана Грея»... Какая утонченность, какая рафинированность. Вообще, если меня в последнее время что и занимает, так это – английская

⁴¹ Искусство вечно, жизнь коротка! (лат.)

литература последних лет, весь ее комплекс...

– ...А я вам говорю, что ставить в Мариинке «Электру» – это безумие! Половина певцов посрывает себе голоса!..

– Читали?

– Да, да! Это какой-то ужас. Весь Петербург дрогнул, как один человек, когда прочитал о горе бедной Айседоры Дункан. Надо быть матерью...

– ...Понимаете, между акмеизмом и импрессионизмом та разница, что акмеизм как течение...

– Позвольте, позвольте! А Игорь Северянин?..

– ...Расскажу, чтобы дамы не услышали. После Донона поехали мы в «Аквашку», были: князь Дуду, Ирма, Вовочка и я. Ну, понятно, заморозили полдюжинки...

– ...А я вам говорю, что Мережковский такой же богоискатель, как Розанов – богоборец!

– ...В последнем номере «Сатирикона»...

– ...Будьте любезны передать ром.

– ...Вы спрашиваете, отчего вся Россия с ума сошла? От Вилли Ферреро!

– Господа, кто вызывал таксомоторы? Два приехало.

– Прямо не знаю, куда бы мне и дернуть летом... Венеция надоела, Египет опостылел... Поехать, разве, на Карпаты для шутки?..

ХІІІ век. Год 1920

– Кушайте колбасу, граф!

– Мерсі. Почем покупали?

– 120.

– Ого! Это, значит, такой кусочек рублей 7 стоит...

– ...Я вам советую поехать в Сербию, хотя там неудобно и грязновато, но русских принимают довольно сносно. Даже в гостиницы пускают...

– Что вы говорите?!

– ...В кают-компании все стояли, прильнув друг к другу, сплошной массой, но я придумал штуку: привязал себя ремнями от чемодана к бушприту и так довольно сносно провел ночь. Благо тепло!

– Что это не видно моего кузена Гриши?

– Разве не знаете? На прошлой неделе от сыпняка кончился.

– Ах, вот что! То-то я смотрю... А булки почем покупали?

– ...Представьте себе, купила я две свечи, а одна из них без фитиля.

– Что же вы?

– А я растопила стеарин в стакане, потом взяла шнурок от корсета и стала обмакивать в стакан: обмакну и вытащу. Стеарин застывает быстро. Так и получилось несколько маленьких свечечек.

– ...Нет, простите! На чемодане спать удобно, только нужно знать – как. Другой осел будет пытаться спать на закрытом чемодане. А нужно так: все вещи из чемодана вынуть и завернуть в простыню; раскрытый чемодан положить крышками вверх, а сбоку, как продолжение, вынутые вещи; получается площадь в два аршина длины и в аршин ширины; впадина на ребре чемодана затыкается носками...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.